



НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА **НБ**

М. Горький

**ГОРОД  
ЖЕЛТОГО  
ДЬЯВОЛА**

**НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА**

**М. ГОРЬКИЙ**

**ГОРОД  
ЖЕЛТОГО  
ДЬЯВОЛА**



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»  
МОСКВА 1972

Р2  
Г 71

Текст печатается по изданию:

М. Горький, Собрание сочинений в восемнадцати томах, том 4,  
«Художественная литература», М. 1960

Вступительная статья  
В. ЗОРИНА

Иллюстрации художника  
А. ТАРАНА

7-3-2  

---

29-72

## ИСПЫТАНИЕ ВРЕМЕНЕМ

Время течет быстро, особенно в XX веке. Оно как бы спрессовалось, вмещая в себя ныне неизмеримо больше, чем в прежние эпохи. Один год в наши дни равен по насыщенности событиями многим десятилетиям по сравнению, скажем, со средневековьем.

Этот стремительный бег времени, меняющий кардинально образ жизни, устои людей на протяжении жизни одного поколения, будучи с точки зрения повседневных нужд человеческих и прогресса науки, техники благом бесспорным, в сфере жизни духовной, особенно в области искусства и литературы, оценивается не столь однозначно. Моральное старение произведений даже талантливых — картин и симфоний, книг и творений зодчих — факт столь же бесспорный, сколь и подчас прискорбный. Накопление духовных богатств нередко не поспевает за современным темпом, переводящим в разряд памятников и музейных экспонатов, отвлеченных от дня сегодняшнего, то, что еще совсем недавно было насущнейшей духовной пищей.

Бессильными перед быстротекущим временем оказываются твердь гранита, самые совершенные краски, созвучия и даже прочнейшие из всех материалов — мысль и слово человеческие. То, что еще вчера волновало, восхищало, казалось бесспорным, у людей сегодняшних дней нередко вызывает сомнения или возражения, а подчас и вовсе не затрагивает.

Тем более счастлива доля и велик подвиг тех художников, чей могучий талант и прозорливость оказываются неподвластными времени. Эта мысль возникает, когда перечитываешь сегодня горьковские очерки

об Америке. В самом деле, что, казалось бы, общего между Америкой начала века, бывшей в ту пору глухой провинцией, Америкой, которую увидел и описал Максим Горький, и сегодняшними Соединенными Штатами с их огромной промышленной машиной и бурлящими страстями, центром и цитаделью современного капитализма.

Написанное в начале века актуально сегодня не меньше, а быть может, даже больше, чем в момент, когда писалось. Конечно же, Америка годов 70-х — это не Америка первого десятилетия нынешнего века. Изменился внешний облик ее городов и людей, их населяющих. На смену одним проблемам пришли другие, на смену прежним модам — новые. Но в том-то и заключена подлинная гениальность и прозорливость великого мастера, что он сквозь внешнюю оболочку, шелуху наносного сумел разглядеть содержание, сущность города «желтого дьявола», увидеть в «самом обыкновенном человеке» поистине страшного «короля республики», почувствовать злобную бесчеловечность толпы, унижающее человека идиотство обывательских развлечений, услыхать в «музыке толстых» не просто новомодные ритмы, но и скрывающиеся за ними звуки распадающейся, рассыпающейся буржуазной культуры.

Горький многое увидел и многое предвидел. В набирающем силы молодом капиталистическом хищнике он сумел обнаружить то, что почти никто из его современников не разглядел: признаки недуга, поразившего сегодня Америку, ее бездуховность, душевное убожество ее культуры, ее мораль, а точнее, аморальность, ее приземленность, порочность общества, где доллар — все, а человек — ничто.

Автору этих строк довелось в последние годы неоднократно бывать за океаном. И я берусь свидетельствовать абсолютную актуальность и современность каждой горьковской строки об Америке.

Не так давно мне довелось встретиться и беседовать с Гарольдом Лафайетом Хантом, имя которого в 70-е годы возглавляет список богатейших людей Америки. Передо мной сидел высокий неопрятный старик, со сморщенным, как печеное яблоко, лицом, выцветшими глазами и беспрестанно шевелившимися, как паучьи лапки, высохшими пальцами, обтянутыми будто бы

пергаментной кожей. Скрипучим голосом он говорил пошлейшие банальности.

Но вот разговор коснулся его политических взглядов. Лицо Ханта покрылось апоплексическим румянцем, на шее вздулись жилы, и он срывающимся фальцетом принялся обличать социализм и коммунистов — этих «слуг дьявола». Слушая его истеричные выкрики, я мучительно старался вспомнить, где видел этого злобного старца, слышал его бессвязные речи. Память подсказывала, что никогда прежде мне не доводилось встречаться с этим миллиардером, известным в Америке под кличкой «гиена в патоке». Но все-таки ощущение, что все это я уже когда-то видел и слышал, не покидало меня.

Я мучительно рылся в памяти и внезапно понял: перед моим мысленным взором возникли строки горьковского очерка «Один из королей республики». Портрет миллионера до жути напоминал субъекта, сидевшего передо мной. То было не только внешнее сходство, хотя и оно было налицо. Дело было в точности психологического рисунка, в том, как безукоризненно верно была схвачена суть этой биологической особи — язык не поворачивается назвать ее человеком. Передо мной сидел один из королей сегодняшней американской республики, и, захоти я дать современному читателю его портрет, мне пришлось бы слово в слово повторить то, что написал Горький больше чем полвека назад.

В «Царстве скуки» рассказывается о фабрике развлечений Кони Айланда начала века. Оказавшись в Нью-Йорке, я решил побывать там, будучи в глубине души уверенным, что не увижу ничего из того, что описано Горьким. И действительно, на первый взгляд там сейчас многое изменилось. Нет ни ада из папьемаше, ни скучного проповедника с его благочестивыми речами, ни примитивных каруселей, на которые взгромождаются сытые обыватели со своими семьями.

Но, походив и приглядевшись, я обнаружил, что изменения эти чисто внешние. Обыватель все тот же, и развлекают его все тем же. Только вместо примитивной карусели ему на потребу, что называется в духе времени, поставлены автоматы. Всевозможные. Хитроумные. Игорные, щекочущие нервы и весьма ловко опустошающие карманы, пугающие, веселящие.

Вот один из таких автоматов-весельчаков. Когда я подошел, вокруг него стояла толпа. Автомат был выполнен в виде огромной человеческой фигуры. Искусно сделанный, он удивительно точно воспроизводил мимику и движения смеющегося человека. Это был автомат-хохотун. Он хохотал. Громко. Заливисто. С повизгиваниями и подрагиваниями. Хохотал бесконечно, заходясь в пароксизме смеха.

Глядя на него, начинали смеяться те, кто находился здесь. Сначала робко, украдкой, прячась один за другого, потом все громче, все неудержимее, все истеричнее. Они уже не могли остановиться, судорожно дергались, задыхались, вытирали слезы, сотрясаясь в истерическом приступе смеха, который и смех-то уже не напоминал, смахивая, скорее, на уродливо-отвратительные судороги. Они гоготали, взвизгивали, ржали. Долго. Бессмысленно. До икоты. До посинения. И все эти всхлипы и взвизгивания собравшейся здесь толпы покрывал торжествующий, механический, какой-то ржаво-скрипучий мертвый хохот автомата.

Ничего более омерзительного и отталкивающего на своем веку я не встречал. Люди переставали быть людьми, превращаясь в автоматы, а автомат переставал быть достижением человеческого разума, обернувшись его поруганием, издевательством и prostituiрованием его.

Так ли уж длинен путь, проделанный американской цивилизацией со времен, описанных Горьким? Так ли уж велика разница между пошлым адом из «Царства скуки» и достижением современной автоматики и телемеханики — автоматом-хохотуном?

Частности? Детали? Да. Но за ними, за этими частностями, очень многое, за ними убогость мира, единственное божество которого доллар, мира, принижающего, оглуляющего человека, стремящегося сделать из него бессловесную частичку огромной машины эксплуатации и наживы.

Америка не вчерашняя, а сегодняшняя, с ее культом золота, бездуховностью и неуважением к человеку, встает со страниц горьковских очерков, выдержавших испытание временем, отстаивающих гуманизм против лжецивилизации.

*Валентин Зорин*



**В АМЕРИКЕ**





## ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА

...Над океаном и землею висел туман, густо смешанный с дымом, мелкий дождь лениво падал на темные здания города и мутную воду рейда.

У бортов парохода собрались эмигранты, молча глядя на все вокруг пытливыми глазами надежд и опасений, страха и радости.

— Это кто? — тихо спросила девушка полька, изумленно указывая на статую Свободы. Кто-то ответил:

— Американский бог...

Массивная фигура бронзовой женщины покрыта с ног до головы зеленой окисью. Холодное лицо слепо смотрит сквозь туман в пустыню океана, точно бронза ждет солнца, чтобы оно оживило ее мертвые глаза. Под ногами Свободы — мало земли, она кажется поднимающейся из океана, пьедестал ее — как застывшие волны. Ее рука, высоко поднятая над океаном и мачтами судов, придает позе гордое величие и красоту. Кажется — вот факел в крепко сжатых пальцах ярко вспыхнет, разгонит серый дым и щедро обольет все кругом горячим, радостным светом.

А кругом ничтожного куска земли, на котором она стоит, скользят по воде океана, как допотопные чудовища, огромные железные суда, мелькают, точно голодные хищники, маленькие катера. Ревут сирены, подобно голосам сказочных гигантов, раздаются сердитые свистки, гремят цепи якорей, сурово плещут волны океана.

Все вокруг бежит, стремится, вздрагивает напряженно. Винты и колеса пароходов торопливо бьют

воду — она покрыта желтой пеной, изрезана морщинами.

И кажется, что все — железо, камни, вода, дерево — полно протеста против жизни без солнца, без песен и счастья, в плену тяжелого труда. Все стонет, воеет, скрежещет, повинуюсь воле какой-то тайной силы, враждебной человеку. Повсюду на груди воды, изрытой и разорванной железом, запачканной жирными пятнами нефти, засоренной щепами и стружками, соломой и остатками пищи, работает невидимая глазом холодная и злая сила. Она сурово и однообразно дает толчки всей этой необъятной машине, в ней корабли и доки — только маленькие части, а человек — ничтожный винт, невидимая точка среди уродливых, грязных сплетений железа, дерева, в хаосе судов, лодок и каких-то плоских барок, нагруженных вагонами.

Ошеломленное, оглохшее от шума, задерганное этой пляской мертвой материи двуногое существо, все в черной копоти и масле, странно смотрит на меня, сунув руки в карманы штанов. Лицо его замазано густым налетом жирной грязи, и не глаза живого человека сверкают на нем, а белая кость зубов.

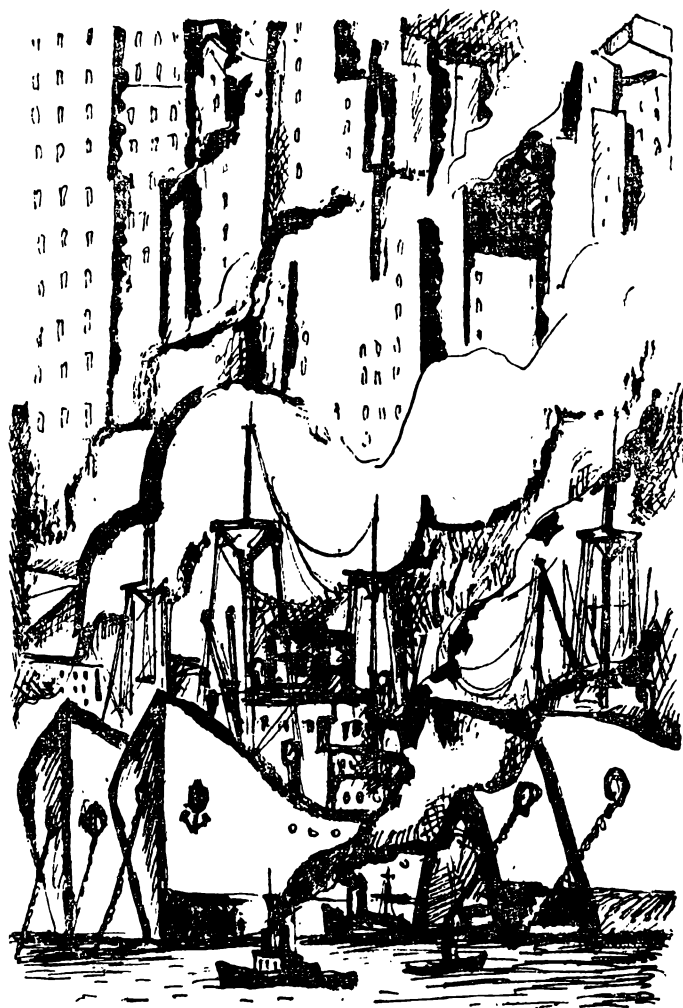
Медленно ползет судно среди толпы других судов. Лица эмигрантов стали странно серы, оступели, что-то однообразно-овечье покрыло все глаза. Люди стоят у борта и безмолвно смотрят в туман.

А в нем рождается, растет нечто непостижимо огромное, полное гулко-го ропота, оно дышит навстречу людям тяжелым, пахучим дыханием, и в шуме его слышно что-то грозное, жадное.

Это — город, это — Нью-Йорк. На берегу стоят двадцатипятиэтажные дома, безмолвные и темные «скребницы неба». Квадратные, лишённые желания быть красивыми, тупые, тяжелые здания поднимаются вверх угрюмо и скучно. В каждом доме чувствуется надменная кичливость своею высотой, своим уродством. В окнах нет цветов и не видно детей...

Издали город кажется огромной челюстью, с неровными, черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением.

Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камня и железа, — в желудок, который проглотил



несколько миллионов людей и растирает, переваривает их.

Улица — скользкое, алчное горло, по нему куда-то вглубь плывут темные куски пищи города — живые люди. Везде — над головой, под ногами и рядом с тобой — живет, грохочет, торжествуя свои победы, железо. Вызванное к жизни силою Золота, одушевленное им, оно окружает человека своей паутиной, глушит его, сосет кровь и мозг, пожирает мускулы и нервы и растет, растет, опираясь на безмолвный камень, все шире раскидывая звенья своей цепи.

Как огромные черви, ползут локомотивы, влача за собою вагоны, крикают, подобно жирным уткам, рожки автомобилей, угрюмо воет электричество, душный воздух напоен, точно губка влагой, тысячами ревущих звуков. Придавленный к этому грязному городу, испачканный дымом фабрик, он неподвижен среди высоких стен, покрытых копотью.

На площадях и в маленьких скверах, где пыльные листья деревьев мертво висят на ветвях, — возвышаются темные монументы. Их лица покрыты толстым слоем грязи, глаза их, когда-то горевшие любовью к родине, засыпаны пылью города. Эти бронзовые люди мертвы и одиноки в сетях многоэтажных домов, они кажутся карликами в черной тени высоких стен, они заплутались в хаосе безумия вокруг них, остановились и, полуослепленные, грустно, с болью в сердце смотрят на жадную суету людей у ног их. Люди, маленькие, черные, суетливо бегут мимо монументов, и никто не бросит взгляда на лицо героя. Ихтиозавры капитала стерли из памяти людей значение творцов свободы.

Кажется, что бронзовые люди охвачены одной и той же тяжелой мыслью:

«Разве такую жизнь хотел я создать?»

Вокруг кипит, как суп на плите, лихорадочная жизнь, бегут, вертятся, исчезают в этом кипении, точно крупинки в бульоне, как щепки в море, маленькие люди. Город ревет и глотает их одного за другим ненасытной пастью.

Одни из героев опустили руки, другие подняли их, протягивая над головами людей, предостерегая:

— Остановитесь! Это не жизнь, это безумие...

Все они — лишние в хаосе уличной жизни, все не на месте в диком реве жадности, в тесном плену угрюмой фантазии из камня, стекла и железа.

Однажды ночью они все вдруг сойдут с пьедесталов и тяжелыми шагами оскорбленных пройдут по улицам, унося тоску своего одиночества прочь из этого города, в поле, где блесит луна, есть воздух и тихий покой. Когда человек всю жизнь трудился на благо своей родины, он этим, несомненно, заслужил, чтоб после смерти его оставили в покое.

По тротуарам спешно идут люди туда и сюда, по всем направлениям улиц. Их всасывают глубокие поры каменных стен. Торжествующий гул железа, громкий вой электричества, гремющий шум работ по устройству новой сети металла, новых стен из камня — все это заглушает голоса людей, как буря в океане — крики птиц.

Лица людей неподвижно спокойны — должно быть, никто из них не чувствует несчастья быть рабом жизни, пищей города-чудовища. В печальном самомнении они считают себя хозяевами своей судьбы — в глазах у них порою светится сознание своей независимости, но, видимо, им непонятно, что это только независимость топора в руке плотника, молотка в руке кузнеца, кирпича в руках невидимого каменщика, который, хитро усмехаясь, строит для всех одну огромную, но тесную тюрьму. Есть много энергичных лиц, но на каждом лице прежде всего видишь зубы. Свободы внутренней, свободы духа — не светится в глазах людей. И эта энергия без свободы напоминает холодный блеск ножа, который еще не успели иступить. Это — свобода слепых орудий в руках Желтого Дьявола — Золота.

Я впервые вижу такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так порабощены. И в то же время я нигде не встречал их такими трагикомически довольными собой, каковы они в этом жадном и грязном желудке обжоры, который впал от жадности в идиотизм и с диким ревом скота пожирает мозги и нервы...

О людях — страшно и больно говорить. Вагон «воздушной дороги» с воем и грохотом мчит-ся по рельсам, между стен домов узкой улицы, на

высоте третьих этажей, однообразно опутанных решетками железных балконов и лестниц. Окна открыты, и почти в каждом из них — фигуры людей. Одни работают, что-то шьют или считают, наклонив головы над конторками, другие просто сидят у окон, лежат грудью на подоконниках и смотрят на вагоны, каждую минуту пробегающие мимо их глаз. Старые, молодые и дети — все одинаково безмолвны, однообразно спокойны. Привыкли к этим стремлениям без цели, привыкли думать, что тут есть цель. В глазах нет гнева против владычества железа, нет ненависти к его торжеству. Мелькание вагонов сотрясает стены домов, вздрагивают груди женщин, головы мужчин; на решетках балконов валяются тела детей и тоже дрожат, привыкая принимать эту отвратительную жизнь как должное, неизбежное. В мозгах, которые всегда встряхивают, вероятно, невозможно мысли плести свои смелые, красивые кружева, невозможно родить живую, дерзкую мечту.

Вот промелькнуло темное лицо старухи в грязной кофте, расстегнутой на груди. Уступая дорогу вагонам, замученный, отравленный воздух испуганно бросился в окна, седые волосы на голове старухи затрепетали, точно крылья серой птицы. Она закрыла свинцовые, погасшие глаза. Исчезла.

В мутных внутренностях комнат мелькают железные прутья кроватей, покрытых лохмотьями, грязная посуда и объедки пищи на столах. Хочется увидеть цветы на окнах, ищешь человека с книгой в руке. Стены льются мимо глаз, точно расплавленные, они текут грязным потоком навстречу, в быстром беге потока тягостно копошатся безмолвные люди.

Лысый череп тускло блеснул за стеклом, покрытым слоем пыли. Он однообразно качался над каким-то станком. Девушка, рыжеволосая и тонкая, сидит на окне и вяжет чулок, считая темными глазами петли. Ударом воздуха ее качнуло внутрь комнаты, — она не отвела глаз от работы, не поправила платья, развееванного ветром. Два мальчика, лет по пяти, строят на балконе дом из щепок. Он развалился от сотрясения. Дети хватают маленькими лапами тонкие щепы, чтобы они не упали на улицу сквозь отверстия в решетке балкона. И тоже не смотрят на причину, помешавшую их задаче. Еще и еще лица, одно за другим, мель-

кают в окнах, точно осколки чего-то одного — большого, но разбитого в ничтожные пылинки, растертого в дресву.

Гонимый бешеным бегом вагонов, воздух развеивает платье и волосы людей, бьет им в лицо теплой, душной волной, толкает, вгоняет им в уши тысячи звуков, бросает в глаза мелкую, едкую пыль, слепит, оглушает протяжным, непрерывно воющим звуком...

Живому человеку, который мыслит, создает в своем мозгу мечты, картины, образы, родит желания, тоскует, хочет, отрицает, ждет, — живому человеку этот дикий вой, визг, рев, эта дрожь камня стен, трусливый дребезг стекол в окнах — все это ему мешало бы. Возмущенный, он вышел бы из дома и сломал, разрушил эту мерзость — «воздушную дорогу»; он заставил бы замолчать нахальный вой железа, он — хозяин жизни, жизнь — для него, и все, что ему мешает жить, — должно быть уничтожено.

Люди в домах города Желтого Дьявола спокойно переносят все, что убивает человека.

Внизу, под железной сетью «воздушной дороги», в пыли и грязи мостовых, безмолвно возятся дети, — безмолвно, хотя они смеются и кричат, как дети всего мира, — но голоса их тонут в грохоте над ними, точно капли дождя в море. Они кажутся цветами, которые чья-то грубая рука выбросила из окон домов в грязь улицы. Питая свои тела жирными испарениями города, они бледны и желты, кровь их отравлена, нервы раздражены зловещим криком ржавого металла, угрюмым воем поработанных молний.

«Разве из этих детей вырастут здоровые, смелые, гордые люди?» — спрашиваешь себя. В ответ отовсюду скрежет, хохот, злой визг.

Вагоны несутся мимо Ист-Сайда, квартала бедных, компостной ямы города. Глубокие канавы улиц, ведущие людей куда-то в глубины города, где — представляется уму — устроена огромная, бездонная дыра, котел или кастрюля. Туда стекаются все эти люди, и там из них вываривают золото. Канавы улиц кишат детьми.

Я очень много видел нищеты, мне хорошо знакомо ее зеленое, бескровное, костлявое лицо. Ее глаза, ту-



пые от голода и горящие жадностью, хитрые и мстительные или рабски покорные и всегда нечеловеческие, я всюду видел, но ужас нищеты Ист-Сайда — мрачнее всего, что я знаю.

В этих улицах, набитых людьми, точно мешки крупой, дети жадно ищут в коробках с мусором, стоящих у панелей, загнившие овощи и пожирают их вместе с плесенью тут же, в едкой пыли и духоте.

Когда они находят корку загнившего хлеба, она возбуждает среди них дикую вражду; охваченные желанием проглотить ее, они дерутся, как маленькие собачонки. Они покрывают мостовые стаями, точно прожорливые голуби; в час ночи, в два и позднее — они всё еще роются в грязи, жалкие микробы нищеты, живые упреки жадности богатых рабов Желтого Дьявола.

На углах грязных улиц стоят какие-то печи или жаровни, в них что-то варится, пар, вырываясь по тонкой трубке на воздух, свистит в маленький свисток на конце ее. Тонкий, режущий ухо свист прорывает своим дрожащим острием все звуки улиц, он тянется бесконечно, как ослепительно белая, холодная нить, он закручивается вокруг горла, путает мысли в голове, бесит, гонит куда-то и, не смолкая ни на секунду, дрожит в гнилом запахе, пожравшем воздух, дрожит насмешливо, злобно пронизывая эту жизнь в грязи.

Грязь — стихия, она пропитала собою все: стены домов, стекла окон, одежды людей, поры их тела, мозги, желания, мысли...

В этих улицах темные впадины дверей подобны загнившим ранам в камне стен. Когда, заглянув в них, увидишь грязные ступени лестниц, покрытые мусором, то кажется, что там, внутри, все разложилось и гнойно, как во чреве трупа. А люди представляются червями...

Высокая женщина с большими темными глазами стоит у двери, на руках у нее ребенок, ее кофта растегнута, бессильно повисла длинным кошельком ее синяя грудь. Ребенок кричит, царапая пальцами вялое, голодное тело матери, тычется в него лицом, чмокает губами, на минуту умолкает, вновь кричит с большей силой, бьет руками и ногами грудь матери. Она стоит, точно каменная, и глаза ее круглы, как у совы, — они смотрят упорно в одну точку перед собой. Чувствуешь,



что этот взгляд не может видеть ничего, кроме хлеба. Она плотно сжала губы и дышит носом, ноздри ее вздрагивают, втягивая пахучий, густой воздух улицы; этот человек живет воспоминанием о пище, проглоченной им вчера, мечтой о куске, который он, может быть, съест когда-нибудь. Ребенок кричит, судорожно подергиваясь маленьким, желтым тельцем,— она не слышит его криков, не чувствует ударов...

Старик, длинный и худой, с хищным лицом, без шляпы на седой голове, прищулив красные веки больных глаз, осторожно роется в куче мусора, отбирая куски угля. Когда к нему подходят, он неуклюже, точно волк, поворачивает туловище и что-то говорит.

Юноша, очень бледный и худой, опираясь на столб фонаря, смотрит серыми глазами вдоль улицы и по временам встряхивает курчавой головой. Его руки засунуты глубоко в карманы брюк и судорожно шевелят там пальцами...

Здесь, в этих улицах, человек замечен, слышен его голос, озлобленный, раздраженный, мстительный. Здесь у человека есть лицо — голодное, возбужденное, тоскующее. Видно, что люди чувствуют, заметно, что они думают. Они кишат в грязных канавах, трутся друг о друга, точно сор в потоке мутной воды, их кружит и вертит сила голода, оживляет острое желание съесть что-нибудь.

В ожидании пищи, в мечтах о наслаждении быть сытыми они глотают насыщенный ядами воздух, и в темных глубинах их душ рождаются острые мысли, хитрые чувства, преступные желания.

Они подобны болезнетворным микробам в желудке города, и будет время, когда они его отравят теми же ядами, которыми он так щедро питает их теперь!

Юноша у фонаря время от времени встряхивает головой, крепко стиснув голодные зубы. Мне кажется, я понимаю, о чем он думает, чего он хочет,— иметь огромные руки страшной силы и крылья за спиной он хочет, мне кажется. Это для того, чтобы однажды днем подняться над городом, опустить в него руки, как два стальных рычага, и смешать в нем все в груду мусора и праха — кирпич и жемчуг, золото и мясо рабов, стекло и миллионеров, грязь, идиотов, храмы, деревья, отравленные грязью, и эти глупые, многоэтажные «скребницы неба», всё, весь город — в кучу, в

тесто из грязи и крови людей — в скверный хаос. Это страшное желание естественно в мозгу юноши, как нарыв на теле худосочного. Где много работы рабов, там не может быть места для свободной, творческой мысли, там могут цвести только идеи разрушения, ядовитые цветы мести, буйный протест животного. Это понятно — искажая душу человека, люди не должны ждать от него милосердия к ним.

Человек имеет право мести — это право дают ему люди.

В мутном небе, покрытом копотью, гаснет день. Огромные дома становятся еще мрачнее, тяжелее. Кое-где в их темных недрах вспыхивают огни и блестят, точно желтые глаза странных зверей, которые должны всю ночь стеречь мертвое богатство этих гробниц.

Люди кончили работу дня и, — не думая о том, зачем она сделана, нужна ли она для них, — быстро бегут спать. Тротуары залиты темными потоками человеческого тела. Все головы однообразно покрыты круглыми шляпами, и все мозги, — это видно по глазам, — уже уснули. Работа кончена, думать больше не о чем. Все думают только для хозяина, о себе думать нечего; если есть работа — будет хлеб и дешевые наслаждения жизнью — кроме этого, ничего не нужно человеку в городе Желтого Дьявола.

Люди идут к своим постелям, к женщинам своим, своим мужчинам, и ночью, в душных комнатах, потные и скользкие от пота, будут целоваться, чтобы для города родилась новая, свежая пища...

Идут. Не слышно смеха, нет веселого говора, и не блестят улыбки.

Крякают автомобили, щелкают бичи, густо поют электрические провода, гремят вагоны. Вероятно, где-нибудь играет музыка.

Мальчишки резко выкрикивают названия газет. Подлый звук шарманки и чей-то вопль сливаются в трагикомическом объятии убийцы и балаганного шута. Безвольно идут маленькие люди, — точно камни катятся под гору...

Все больше и больше вспыхивает желтых огней — целые стены сверкают пламенными словами о пиве, о виски, о мыле, новой бритве, шляпах, сигарах, о те-

атрах. Грохот железа, гонимого всюду вдоль улиц жадными толчками Золота, не становится тише. Теперь, когда везде горят огни, этот непрерывный вопль еще значительнее, он приобретает новый смысл, более тяжелую силу.

Со стен домов, с вывесок, из окон ресторанов — льется ослепляющий свет расплавленного Золота. Нахальный, крикливый, он торжествующе трепещет всюду, режет глаза, искажает лица своим холодным блеском. Его хитрое сверкание полно острой жажды вытянуть из карманов людей ничтожные крупички из заработка, — он слагает свои подмигивания в огненные слова и этими словами молча зовет рабочих к дешевым удовольствиям, предлагает им удобные вещи...

Страшно много огня в этом городе! Сначала это кажется красивым и, возбуждая, веселит. Огонь — свободная стихия, гордое дитя солнца. Когда он буйно расцветает — его цветы трепещут и живут прекрасней всех цветов земли. Он очищает жизнь, он может уничтожить все ветхое, умершее и грязное.

Но когда в этом городе смотришь на огонь, заключенный в прозрачные темницы из стекла, понимаешь, что здесь, как все, огонь — поработан. Он служит Золоту, для Золота и враждебно далек от людей...

Как все — железо, камень, дерево — огонь тоже в заговоре против человека; ослепляя его, он зовет:

— Иди сюда!

И выманивает:

— Отдай твои деньги!..

Люди идут на его зов, покупают ненужную им дрянь и смотрят на зрелища, отупляющие их.

Кажется, что где-то в центре города вертится со сладострастным визгом и ужасающей быстротой большой ком Золота, он распыливает по всем улицам мелкие пылинки, и целый день люди жадно ловят, ищут, хватают их. Но вот наступает вечер, ком Золота начинает вертеться в противоположную сторону, образуя холодный, огненный вихрь, и втягивает в него людей затем, чтобы они отдали назад золотую пыль, пойманную днем. Они отдают всегда больше того, сколько взяли, и на утро другого дня ком Золота увеличивается в объеме, его вращение становится быстрее, громче звучит торжествующий вой железа, его раба, грохот всех сил, поработанных им.



И жаднее, с большей властью, чем вчера, оно сосет кровь и мозг людей для того, чтобы к вечеру эта кровь, этот мозг обратились в холодный, желтый металл. Ком Золота — сердце города. В его биении — вся жизнь, в росте его объема — весь смысл ее.

Для этого люди целыми днями роют землю, коуют железо, строят дома, дышат дымом фабрик, всасывают порами тела грязь отравленного, больного воздуха, для этого они продают свое красивое тело.

Это скверное волшебство усыпляет их души, оно делает людей гибкими орудиями в руке Желтого Дьявола, рудой, из которой он неустанно плавит Золото, свою плоть и кровь.

Из пустыни океана идет ночь и дышит на город прохладным, соленым дыханием. Тысячами стрел вонзаются в нее холодные огни — она идет, сострадательно окутывая темными одеждами безобразие домов, мерзость узких улиц, прикрывая грязь лохмотьев нищеты. Дикий вопль жадного безумия несется ей навстречу, разрывая ее тишину, — она идет и медленно гасит нахальный блеск поработанного огня, закрывая своей мягкой рукой гнойные язвы города.

Но, вступая в сети улиц, она не в силах победить, разогнать своим свежим дыханием ядовитые испарения города. Она трется о камень стен, нагретый солнцем, ползет по ржавому железу крыш, по грязи мостовых, пропитывается ядовитой пылью, глотает запахи и, опуская крылья, бессильно, неподвижно ложится на крыши домов, в канавы улиц. От нее осталась только тьма, — свежесть и прохлада исчезли, проглоченные камнем, железом, деревом, грязными легкими людей. В ней больше нет тишины, нет поэзии...

Город засыпает в духоте, он ворчит, как огромное животное. Оно слишком много пожрало за день разной пищи, ему жарко, неловко и снятся дурные, тяжелые сны.

Вздрагивая, угасает огонь, отслужив свою жалкую службу провокатора, лакея рекламы. Дома всасывают людей, одного за другим, в свои каменные внутренности.

Худой, высокий и сутулый человек стоит на углу улицы и скучно бесцветными глазами смотрит направо и налево, медленно повертывая голову. Куда идти? Все

улицы одинаковы, и все дома смотрят друг на друга бельмами тусклых окон одинаково безразлично и мертво...

Душная тоска давит горло теплой рукой, стесняя дыхание. Над крышами домов неподвижно стоит прозрачное облако дневных испарений проклятого, несчастного города. Сквозь эту пелену в недосыгаемой высоте небес тускло мерцают тихие звезды.

Человек снял шляпу, поднял голову, смотрит вверх. Высота домов в этом городе оттолкнула небо дальше от земли, чем где-либо. Звезды — мелки, одиноки...

Вдали тревожно звучит медная труба. Длинные ноги человека странно вздрагивают, и он идет в одну из улиц, шагая медленно, наклонив голову и размахивая руками. Уже поздно, улицы становятся все более пустынными. Одинокие маленькие люди исчезают, точно мухи, пропадая во тьме. На углах неподвижно стоят полицейские, в серых шляпах, с палками в руках. Они жуют табак, медленно двигая челюстями.

Человек идет мимо них, мимо телефонных столбов и множества черных дверей в стенах домов, — черных дверей, сонно разинувших квадратные пасти. Где-то далеко гремит и воет вагон трамвая. Ночь задохнулась в глубоких клетках улиц, ночь умерла.

Человек идет, размеренно передвигая ноги, и качает свой длинный, согнутый корпус. В его фигуре есть что-то думающее и хотя нерешительное, но решающее...

Мне кажется, он — вор.

Приятно видеть человека, который чувствует себя живым в черных сетях города.

Раскрытые окна дышат тошным запахом человеческого пота.

Непонятные, глухие звуки дремотно возятся в душе, тоскливой тьме...

Уснул и сонно бредит мрачный город Желтого Дьявола.

## ЦАРСТВО СКУКИ

Когда приходит ночь — на океане вдруг поднимается к небу призрачный город, весь из огней. Тысячи рдеющих искр раскаленно сверкают во тьме, тонко и четко рисуя на темном фоне неба стройные башни чудесных замков, дворцов и храмов из разноцветного



хрустала. В воздухе трепещет золотая паутина, сплетаясь в прозрачные узоры пламени, и замирает, любясь своей красотой, отраженной в воде. Сказочно и непонятно это сверкание огня, который горя — не уничтожает; невыразимо прекрасен его великолепный, едва заметный для глаза трепет, создающий в пустыне неба и океана волшебную картину огненного города. Над ним колышется красноватое зарево, и вода отражает его очертания, сливая их в причудливые пятна расплавленного золота...

Игра огня рождает странные мечты: кажется, что там, в залах дворцов, в ярком блеске пламенной радости, тихо и гордо звучит музыка, которой не слышал никто и никогда. На волне ее стройного течения несутся, точно крылатые звезды, лучшие мысли земли. В священном танце они соприкасаются одна с другой и, ярко вспыхнув в мимолетном объятии, рожают новое пламя, новую мысль.

Кажется, что там, в мягкой тьме, на зыбкой груди океана, качается чудесно сотканная из нитей золота, цветов и звезд большая колыбель,— в ней, ночью, отдыхает солнце.

Солнце ставит человека ближе к правде жизни. Днем на месте огненной сказки видны только белые, воздушные здания.

Голубой туман дыхания океана смешан с дымом города, серым и мутным, белые, легкие постройки окутаны прозрачной пеленой, они, подобно мареву, заманчиво дрожат, зовут к себе и обещают что-то прекрасное, утешающее.

Там, сзади, тяжело стоят в тучах дыма и пыли квадратные дома города, и, не смолкая, раздается его ненасытный, голодно-жадный рев. Этот напряженный звук, сотрясающий воздух и душу, немолчный вой железных струн, тоскливый вопль сил жизни, угнетаемых силою Золота, холодный, насмешливый свист Желтого Дьявола,— этот шум гонит прочь от земли, раздавленной и загрязненной вонючим телом города. И люди идут на берег океана, где стоят, обещая им отдых и тишину, красивые белые здания.

Они тесно сомкнулись на длинной песчаной косе, которая, подобно ножу, глубоко и остро вонзилась в

темные воды. Песок блестит на солнце теплым, желтым блеском, и на его бархате прозрачные здания подобны тонким вышивкам из белого шелка. Как будто некто пришел на острие косы и погрузился в волны, бросив свои богатые одежды на грудь им.

Хочется пойти и прикоснуться к мягким, ласковым тканям, лечь на их пышные складки и смотреть в пустыню, где бесшумно и быстро мелькают белые птицы, где океан и небо дремотно замерли в знойном блеске солнца.

. . . . .  
Это называется — Куни Айланд.

По понедельникам газеты города с торжеством извещают читателя:

«Вчера на Куни Айланд было 300 000 человек. Потеряно 23 ребенка»...

...Нужно долго ехать, в пыли и криках улиц, на трамвае по Бруклину и острову Лонг Айланд, прежде чем перед глазами явится ослепительное великолепие Куни Айланда. И как только человек встанет перед входом в этот город огня — он ослеплен. В глаза ему бросают сотни тысяч холодных, белых искр, и он долго ничего не может разобрать в сверкающей пыли, вокруг него — все слито в буйный вихрь огненной пены, все кружится, блестит и увлекает. Человека сразу ошеломили, ему раздавили этим блеском сознание, изгнали из него мысль и сделали личность куском толпы. Пьяно и безвольно люди идут куда-то среди сверкания огня. В мозг проникает матово-белый туман, жадное ожидание окутывает душу вязким пологом. Пораженная блеском толпа людей вливается черным потоком в неподвижное озеро света, отовсюду сдавленного темными границами ночи.

Везде сухо и холодно сверкают маленькие лампочки, они прилеплены ко всем столбам и стенам, к наличникам окон, карнизам, они тянутся ровными линиями по высокой трубе электрической станции, горят на всех крышах, царапают глаза людей острыми иглами мертвого блеска — люди прищуриваются и, растерянно улыбаясь, медленно влачатся по земле, как тяжелые звенья запутанной цепи...

Человеку нужно сделать большое усилие, чтобы найти себя среди толпы, подавленной удивлением, в

котором нет восторга и радости. И кто находит себя, тот видит, что эти миллионы огней рождают унылый, все раздевающий свет и, создавая намеки на возможность красоты, всюду обнажают тупое, скучное безобразие. Призрачный издали сказочный город встает теперь как нелепая путаница прямых линий дерева, поспешная, дешевая постройка для забавы детей, расчетливая работа старого педагога, которого беспокоят детские шалости, и он желает даже игрушками воспитывать в детях покорность и смирение. Десятки белых зданий уродливо разнообразны, и ни в одном из них нет даже тени красоты. Они построены из дерева, намазаны облупившейся белой краской и все точно страдают однообразной болезнью кожи. Высокие башни и низенькие колоннады вытянулись в две мертвенно ровные линии и безвкусно теснят друг друга. Все раздето, ограблено бесстрастным блеском огня; он — всюду, и нигде нет теней. Каждое здание стоит, точно удивленный дурак, широко раскрыв рот, а внутри его облако дыма, резкие вопли медных труб, вой органа и темные фигуры людей. Люди едят, пьют, курят.

Но человека — не слышно. В воздухе течет ровной струей шипение огня в фонарях, носятся лохмотья музыки, нищенское пение деревянных дудок органов и тонкий, непрерывный свист жаровен. Все это сливается в назойливое гудение какой-то невидимой, толстой, туго натянутой струны, и, если в этот непрерывный звук вторгается человеческий голос, он кажется испуганным шепотом. Все вокруг нагло блестит, обнажая свое скучное уродство...

Душу крепко обнимает пламенное желание живого, красного, цветущего огня, чтобы он освободил людей из плена пестрой скуки, сверлящей уши и ослепляющей глаза... Хочется поджечь всю эту прелесть и бешено, весело плясать, кричать и петь в буйной игре разноцветных языков живого пламени, на сладострастном пире уничтожения мертвого великолепия духовной нищеты...

Людей в плену этого города — действительно сотни тысяч. На всей его огромной площади, тесно застроенной белыми клетками, во всех залах зданий они толпятся, как тучи черных мух. Беременные женщины самодовольно несут тяжесть своих животов. Дети идут,



молчаливо раскрыв рты, и ослепленными глазами смотрят вокруг так напряженно и серьезно, что их до боли жалко за этот взгляд, питающий их душу уродством, которое они берут за красоту. Бритые лица мужчин, безусые, странно похожие друг на друга, — солидно неподвижны. Большинство их привело сюда жен и детей и чувствует себя благодетелями своих семейств, которым они дают не только хлеб, но и великолепные зрелища. Им самим тоже нравится этот блеск, но они слишком серьезны для того, чтобы выражать свои ощущения, поэтому они однообразно сжали тонкие губы и, прищутив глаза, смотрят исподлобья, как люди, которых ничем не удивишь. Но под этим внешним спокойствием зрелого опыта чувствуется напряженное желание изведать все наслаждения города. И вот солидные люди, пренебрежительно усмехаясь и скрывая довольный блеск светлых глаз, садятся верхом на спины деревянных лошадок и слонов электрической карусели, садятся и, болтая ногами, с трепетом ждут острого удовольствия помчаться по рельсам, ухая взлететь вверх и со свистом опуститься вниз. Совершив это тряское путешествие, все снова туго натягивают кожу на лице и идут к другим наслаждениям...

Удовольствия бесчисленны: вот на вершине железной башни медленно качаются два длинные белые крыла, на концах крыльев висят клетки, в клетках — люди. Когда одно из крыльев тяжело взмывает к небу — лица людей в клетках становятся тоскливо серьезны, и все они одинаково напряженно и молчаливо смотрят круглыми глазами на землю, уходящую от них. А в клетке другого крыла, которое в это время осторожно опускается вниз, — лица людей цветут улыбками и раздаются довольные взвизгивания. Это напоминает радостный визг щенка, когда его опустить на пол, подержав на воздухе за кожу шеи.

Вокруг вершины другой башни летают в воздухе лодки, третья, вращаясь, двигает какие-то баллоны из железа, четвертая, пятая — все они двигаются, плавают, зовут безмолвным криком холодного огня. Все качается, взвизгивает, гремит и кружит головы людей, делая их самодовольно скучными, утомляя их нервы путаницей движений и блеском огня. Светлые глаза становятся еще светлее, как будто мозг бледнеет, теряя кровь в странной суете белого, сверкающего дере-

ва. И кажется, что скука, издыхая под гнетом отвращения к себе самой, кружится, кружится в медленной агонии и вовлекает в свой унылый танец десятки тысяч однообразно черных людей, сметая их, как ветер сор улиц, в безвольные кучи и снова разбрасывая, и и снова сметая...

Внутри зданий людей ждут тоже наслаждения, но они серьезны, они воспитывают. Здесь людям показывают ад с его строгими порядками и разнообразием мучений, которые ждут людей, нарушающих святость законов, созданных для них...

Ад сделан из папье-маше, окрашенного в темно-красный цвет, все в нем пропитано огнеупорным составом и густым, грязным запахом какого-то жира. Ад очень скверно сделан, он способен вызвать отвращение даже у человека весьма нетребовательного. Он представляет собой пещеру, хаотически заваленную камнями и наполненную красноватым сумраком. На одном из камней сидит Сатана в красном трико, искажая разнообразными гримасами свое худое, коричневое лицо, и потирает руки, как человек, который сделал выгодное дело. Ему, должно быть, очень неудобно сидеть — бумажный камень трещит и качается, но он будто бы не замечает этого, наблюдая, как внизу, у его кривых ног, черти расправляются с грешниками.

Вот девушка купила новую шляпку и смотрит на себя в зеркало, довольная и веселая. Но сзади к ней подкрадывается пара небольших, видимо, очень голодных чертей, они схватывают ее под мышки, она визжит, — поздно! Черти кладут ее в длинный гладкий желоб, который круто опускается в яму среди пещеры, из ямы идет серый пар, поднимаются языки огня, сделанного из красной бумаги, и девушка, вместе с зеркалом и шляпой, съезжает на спине по желобу в эту яму.

Молодой парень выпил стакан водки — черти немедленно спускают и его туда же, под пол сцены.

В аду душно, черти мелки и слабосильны, они, видимо, страшно утомлены своей работой, их раздражает ее однообразие и очевидная бесполезность, поэтому они не церемонятся с грешниками, бросая их в желоб, точно поленья. Смотришь на них, и хочется крикнуть:

«Довольно глупостей! Бастуй, ребята!..»

Девица вытащила несколько монет из кошелька своего собеседника,— и в тот же миг черти расправляются с ней, к удовольствию Сатаны, который радостно болтает ногами и гнусаво хихикает. Черти сердито косятся на бездельника и озлобленно швыряют в пасть огненной ямы всех, кто случайно — по делу или из любопытства — заходит в ад...

Публика смотрит на эти страсти молча и серьезно. В зале темно. Какой-то здоровый парень с курчавой головой и в толстом пиджаке густым, угрюмым голосом говорит речь, указывая рукой на сцену.

В своей речи он утверждает, что, если люди не хотят быть жертвами Сатаны в красном трико и с кривыми ногами, они должны знать, что нельзя целовать девушек, не обвенчавшись с ними, потому что от этого девушки могут сделаться проститутками; нельзя целовать молодых людей без разрешения церкви, потому что от этого могут родиться мальчики и девочки; проститутки не должны воровать деньги из карманов своих гостей; все вообще люди не должны пить вино и прочие жидкости, возбуждающие страсти; все они должны посещать не трактиры, а церкви,— это полезнее для души и дешевле стоит...

Говорит он однотонно, скучно и, должно быть, сам не верит, что нужно жить именно так, как ему велели проповедовать.

Невольно восклицаешь по адресу хозяев исправительного увеселения для грешников:

— Господа! Если вы желаете, чтобы мораль действовала на душу человека,— хотя бы с силою касторового масла,— проповедникам морали надо больше платить!

В заключение этой страшной истории из угла пещеры является до отвращения красивый ангел. Он подвешен на проволоке и двигается в воздухе через всю пещеру, держа в зубах деревянную дудку, оклеенную золотой бумагой. Сатана, увидав его, ныряет, подобно ершу, в яму вслед за грешниками, раздается треск, бумажные камни валятся друг на друга, черти радостно бегут отдохнуть от работы,— занавес опускается. Публика встает и уходит. Некоторые осмеливаются смеяться, большинство людей сосредоточенно. Может быть, они думают:

«Если и в аду так мерзко,— пожалуй, не стоит грешить».

Идут дальше. В следующем здании им показывают «Загробный мир». Это большое учреждение, тоже из папье-маше, оно изображает шахты, в которых без толку шатаются скверно одетые души умерших. Им можно подмигивать, но щипать их нельзя, это — факт. Они, должно быть, очень скучают в сумраке подземного лабиринта, среди шероховатых стен, обливаемые холодной струей сырого воздуха. Некоторые души скверно кашляют, другие молча жуют табак, сплевывая на землю желтую слюну; одна душа, прислонясь в углу к стене, курит сигару...

Когда проходишь мимо них, они смотрят в лицо бесцветными глазами и, плотно сжимая губы, зябко прячут руки в серые складки загробных лохмотьев. Голодны они, эти бедные души, и, видимо, многие из них страдают ревматизмом. Публика молча смотрит на них и, вдыхая сырой воздух, питает душу свою унылой скукой, которая гасит мысль, как мокрая, грязная тряпка, брошенная на уголь, едва тлеющий...

Еще в одном здании охотно показывают «Всемирный потоп», который, как известно, был устроен для наказания людей за грехи...

И все зрелища в этом городе имеют одну цель: показать людям, чем и как они будут вознаграждены за грехи свои после смерти, научить их жить на земле смиренно и послушно законам...

Всюду проповедуется одно:

— Нельзя!

Ибо подавляющее большинство публики — рабочий народ...

Но необходимо наживать деньги, и в укромных уголках светлого города, как везде на земле, разврат презрительно смеется над лицемерием и ложью. Конечно, он прикрыт, и, разумеется, — он скучен, он ведь тоже «для народа». Он организован как выгодное предприятие, как средство вытащить заработок из кармана человека, и, пропитанный страстью к золоту, он



трижды гнусен и противен в этом болоте светлой скуки...

Народ питается им...

...Он течет густым потоком между двух линий ярко освещенных домов, и дома глотают его голодными настыями. Направо его застращивают ужасами вечных мук, убеждая:

— Не греши! Опасно!

Налево, в просторном зале для танцев, медленно кружатся женщины, и все там говорит:

— Согреши! Приятно...

Ослепленный блеском огней, соблазняемый дешевой, но сверкающей роскошью, пьяный от шума, он кружится в медленной пляске томящей скуки и охотно, слепо идет налево — ко греху, направо — в дома, где ему проповедуют святость.

Это безвольное хождение с одинаковой силой отупляет его, одинаково полезно и для торговцев моралью, и для продавцов разврата.

Жизнь устроена для того, чтобы народ шесть дней работал, а в седьмой грешил и платил за грехи свои, исповедовался и платил за исповедь, — вот и все!

Шипят огни, подобно сотням тысяч раздраженных змей, темными роями мух бессильно, уныло жужжат и медленно ворочаются люди в сетях сверкающей, тонкой паутины зданий. Не торопясь, без улыбок на гладко выбритых лицах, они лениво входят во все двери, стоят подолгу перед клетками зверей, жуют табак, плюются.

В огромной клетке какой-то человек гоняет выстрелами из револьвера и беспощадными ударами тонкого бича бенгальских тигров. Красавцы звери, обезумев от ужаса, ослепленные огнями, оглушенные музыкой и выстрелами, бешено мечутся среди железных прутьев, рычат, храпят, сверкая зелеными глазами; дрожат их губы, гневно обнажая клыки зубов, и то одна, то другая лапа грозно взмахивает в воздухе. Но человек стреляет им прямо в глаза, и громкий треск холостого патрона, режущая боль ударов бича отталкивает сильное, гибкое тело зверя в угол клетки. Охваченный дрожью возмущения, гневной тоской сильного, задыхаясь в муках унижений, пленный зверь на секунду

замирает в углу и безумными глазами смотрит, нервно двигая змеевидным хвостом, смотрит...

Эластичное тело сжимается в твердый ком мускулов, дрожит, готовое взлететь на воздух, вонзить свои когти в мясо человека с бичом, разорвать его, уничтожить...

Вздрагивают, как пружины, задние ноги, вытягивается шея, в зеленых зрачках вспыхивают кроваво-красные искры радости.

И в них вонзаются сотнями тупых уколов бесцветные, холодно ожидающие взгляды однообразно желтых лиц за решеткою клетки, тускло слитых в медное пятно.

Страшное своей мертвой неподвижностью, лицо толпы ждет,—она тоже хочет крови и ждет ее, ждет не из мести, а из любопытства, как давно укрошенный зверь.

Тигр втягивает голову в плечи, тоскливо расширяет глаза и волнисто, мягко подается всем телом назад, точно его кожу, воспламененную жаждой мести, вдруг облили ледяным дождем.

Человек стреляет, щелкает бичом, орет как безумный,—он прячет в криках свой жуткий страх перед зверем и свое рабское опасение не угодить животному, которое спокойно любит прыжками человека, напряженно ожидая рокового прыжка зверя. Ожидает — не сознавая, в нем проснулся и дышит древний инстинкт, он требует борьбы, он хочет сладко вздрогнуть, когда два тела обовьются одно с другим, брызнет кровь и на пол клетки полетит, дымясь, разорванное мясо человека, раздастся рев и крик...

Но мозг животного уже пропитан ядами разных запретов и опасений, желая крови — толпа боится, она и хочет и не хочет, и в этой темной борьбе внутри самой себя она испытывает острое наслаждение, она — живет...

Человек напугал всех зверей, тигры мягко убегают куда-то в глубину клетки, а он, потный и довольный тем, что сегодня остался жив, улыбается побелевшими губами, стараясь скрыть их дрожь, и кланяется медному лицу толпы, кланяется ей, как идолу.

Она мычит, хлопает ладонями и разваливается на темные куски, расползается по вязкому болоту скуки вокруг нее...

Насладившись картиной состязания человека со зверями, животные идут искать еще чего-нибудь забавного. Вот — цирк. В центре круглой арены какой-то человек подбрасывает длинными ногами в воздух двух детей. Дети мелькают над ним, точно два белых голубя, у которых сломаны крылья, порой они срываются с его ног, падают на землю и, опасливо взглянув на опрокинутое, налитое кровью лицо отца своего или хозяина, снова вертятся в воздухе. Вокруг арены сложилась толпа. Смотрит. И, когда ребенок срывается с ноги артиста, на всех лицах вздрагивает оживление, точно ветер кроет легкой рябью сонную воду грязной лужи.

Хочется увидеть пьяного человека с веселой рожей, который шел бы, толкался, пел, орал, счастливый тем, что вот он — пьян и всем добрым людям искренне желает того же...

Гремит музыка, разрывая воздух в клочья. Оркестр — плох, музыканты устали, звуки труб мечутся бессвязно, как будто они прихрамывают, для них невозможен плавный строй, они бегут изломанной линией, толкая, обгоняя, опрокидывая друг друга. И почему-то каждый отдельный звук рисуется воображению куском жести, которому придано сходство с лицом человека, — прорезан рот, прорезаны глаза, отверстие для носа и приделаны длинные белые уши. Человек, махающий палочкой над головами музыкантов, которые не смотрят на него, берет эти куски за ручки-уши и невидимо бросает их кверху. Они сшибаются друг с другом, воздух свистит в щелях их ртов, и — это делает музыку, от которой даже ко всему привыкшие лошади цирковых наездников опасливо сторонятся, нервно прядая острыми ушами, точно хотят вытряхнуть из них колкие жестяные звуки...

Странные фантазии рождает музыка нищих для забавы рабов. Хочется вырвать из рук музыканта самую большую медную трубу и дуть в нее всей силой груди, долго, громко, страшно, так, чтобы все разбежались из плена, гонимые ужасом бешеного звука...

Недалеко от оркестра — клетка с медведями; один из них, толстый, бурый, с маленькими хитрыми глазами, стоит среди клетки и размеренно качает головой. Вероятно, он думает:

«Это можно принять как разумное только тогда, если мне докажут, что все здесь устроено нарочно, чтобы ослепить, оглушить, изуродовать людей. Тогда, конечно,— цель оправдывает средства... Но, если люди искренне думают, что все это — забавно,— я не верю больше в их разум!..»

Два другие медведя сидят один против другого, как будто играя в шахматы. Четвертый озабоченно сгребает солому в угол клетки, задевая черными когтями за прутья. Морда у него разочарованно-спокойная. Он, видимо, ничего не ждет от этой жизни и намерен лечь спать...

Звери возбуждают острое внимание — водянистые взгляды людей неотвязно следят за ними, как будто ищут что-то давно позабытое в свободных и сильных движениях красивого тела львов и пантер. Стоя перед клетками, они просовывают палки сквозь решетку и молча, испытующе тыкают зверей в животы, в бока, наблюдают: что будет?

Те звери, которые еще не ознакомились с характером людей, сердятся на них, бьют лапами по прутьям клеток и режут, открывая гневно дрожащие пасти. Это — нравится. Охраняемые железом от ударов зверя, уверенные в своей безопасности, люди спокойно смотрят в глаза, налитые кровью, и довольно улыбаются. Но большинство зверей не отвечают людям. Получив удар палкой или плевком, они медленно встают и, не глядя на оскорбителя, уходят в дальний угол клетки. Там в темноте лежат сильные, прекрасные тела львов, тигров, пантер и леопардов, и горят во тьме круглые зрачки зеленым огнем презрения к людям...

А люди, взглянув на них еще раз, идут прочь и говорят:

— Это — скучный зверь...

Перед оркестром музыкантов, с отчаянным усердием играющих у полукруглого входа в какую-то темную, широко разинутую пасть, внутри которой спинки стульев торчат подобно рядам зубов,— перед музыкантами поставлен столб, а на столбе, привязанные тонкой цепью, две обезьяны — мать и ребенок. Ребенок тесно прижался к груди матери, скрестив на спине ее свои

длинные, тонкие руки с крошечными пальцами; мать крепко обняла его одной рукой, ее другая рука сторожко вытянута вперед, и пальцы на ней нервно скрючены, готовые царапнуть, ударить. Глаза матери напряженно расширены, в них ясно видно бессильное отчаяние, острая боль ожидания неустранимой обиды, утомленная злоба и тоска. Ребенок прильнув щекой к ее груди, искоса, с холодным ужасом в глазах смотрит на людей,— он, видимо, был напоен страхом в первый день жизни, и страх заledenел в нем на все дни ее. Оскалив мелкие белые зубы, его мать, ни на секунду не отрывая руки, обнимающей родное тело, другой рукой все время непрерывно отбивает протянутые к ней палки и зонтики зрителей ее мук.

Их много. Это белокожие дикари, мужчины и женщины, в котелках и шляпах с перьями, и всем им ужасно забавно видеть, как ловко обезьяна-мать защищает свое дитя от ударов по его маленькому телу...

Обезьяна быстро вертится на круглой плоскости, величиной с тарелку, рискует каждую секунду упасть под ноги зрителей и неутомимо отталкивает все, что хочет прикоснуться к ее ребенку. Порой она не успевает отбить удар и жалобно взвизгивает. Ее рука, точно плеть, быстро вьется вокруг, но зрителей так много, и каждому так сильно хочется ударить, дернуть обезьяну за хвост, за цепь на шее. Она — не успевает. И глаза ее жалобно моргают, около рта являются лучистые морщины скорби и боли.

Руки ребенка давят ей грудь, он так крепко прижался, что его пальцев почти не видно в тонкой шерсти на коже матери. Глаза его, не отрываясь, смотрят на желтые пятна лиц, в тусклые глаза людей, которым его ужас перед ними дает маленькое удовольствие...

Порой один из музыкантов наводит медный глупый зев своей трубы на обезьяну и обливает ее трескучим звуком,— она сжимается, скалит зубы и смотрит на музыканта острым взглядом...

Публика смеется, одобрительно кивает музыканту головами. Он доволен и спустя минуту повторяет свою выходку.

Среди зрителей есть женщины, вероятно, некоторые из них — матери. Но никто не произносит ни слова против злой забавы. Все довольны ею...

Иная пара глаз, кажется, готова лопнуть от напряжения, с которым она любит муками матери и диким ужасом ребенка.

Рядом с оркестром клетка слона. Это пожилой господин, с вытертой и лоснящейся кожей на голове. Просунув хобот сквозь прутья клетки, он солидно покачивает им, наблюдая за публикой. И думает, как доброе и разумное животное:

«Конечно, эта сволочь, сметенная сюда грязной метлой скуки, способна издеваться и над пророками своими,— как слышал я от стариков слонов. Но — все-таки — мне жалко обезьяну... Я слышал также, что люди, как шакалы и гиены, порою разрывают друг друга, но обезьяне-то от этого не легче, нет, не легче!..»

...Смотришь на эту пару глаз, в которой дрожит скорбь матери, бессильной защитить свое дитя, и на глаза ребенка, в которых неподвижно застыл глубокий, холодный ужас перед человеком, смотришь на людей, способных забавляться мучениями живого существа, и, обращаясь к обезьяне, говоришь про себя:

«Животное! Прости им! Со временем они будут лучше...»

Конечно, это смешно и глупо. И бесполезно. Едва ли может быть такая мать, которая могла бы простить мучения своего ребенка: я думаю, даже среди собак нет такой матери...

Разве только свиньи...

Да...

Так вот — когда приходит ночь,— на океане внезапно вспыхивает прозрачный, волшебный город, весь из огней. Он — не сгорая — долго горит на темном фоне неба ночи, отражая свою красоту в широком блеске волн океана.

В блестящей паутине его прозрачных зданий, подобно вшам в лохмотьях нищего, скучно ползают десятки тысяч серых людей с бесцветными глазами.

Жадные и подлые — показывают им отвратительную наготу своей лжи и наивность своей хитрости, лицемерие свое и ненасытную силу жадности своей. Холодный блеск мертвого огня во всем оголяет скудоумие, и оно, торжественно блистая, почиет на всем вокруг людей...

Но люди тщательно ослеплены и с восхищением молча пьют дрянной яд, отравляющий их души.

В ленивом танце медленно кружится скука, издыхающая в агонии своего бессилия.

Только одно хорошо в светлом городе — в нем можно на всю жизнь напоить душу свою ненавистью к силе глупости...

## «М О В»

...Окно моей комнаты выходит на площадь, пять улиц целый день высыпают на нее людей, точно картофель из мешков, люди толпятся, бегут, и снова улицы втягивают их в свои пищеводы. Площадь кругла и грязна, как сковорода, на которой долго жарили мясо, но никогда еще не чистили ее. Четыре линии трамвая выбегают на этот тесный круг, почти каждую минуту скользят по рельсам, резко взвизгивая на закруглениях, вагоны, набитые людьми. Они разбрасывают на своем пути тревожно-торопливый грохот железа, над ними и под колесами у них раздраженно гудит электричество. В пыльном воздухе посеяна болезненная дрожь стекол в окнах, визгливый крик трения колес о рельсы. Непрерывно воеет проклятая музыка города — дикая схватка грубых звуков, которые режут, душат друг друга и вызывают странную и мрачную фантазию.

...Толпа каких-то бешеных уродов, вооруженная огромными клещами, ножами, пилами и всем, что можно сделать из железа, свилась в клубок червей, в темный вихрь безумия над телом женщины, которую она схватила жадными руками, свалила на землю, в грязь, в пыль и — рвет ей груди, режет мясо, пьет кровь, насилует и слепо, голодно, неустанно дерется над ней и за нее.

Кто эта женщина — не видно, она завалена, покрыта огромной, желто-грязной кучей людей, которые впились в нее со всех сторон, припали к ней костлявыми телами, прилепились всюду, где нашлось место для жадных губ, и сосут ее соки из каждой поры тела... Охваченные голодной, неутомимой жадностью, они отбрасывают друг друга прочь от своей добычи, бьют, топчут, дробят кости, уничтожают один другого. Всем

хочется как можно больше, и все дрожат в горячке острой боязни остаться без куска. Скрежещут их зубы, стучит железо в их руках, стоны боли, вопли жадности, крики разочарования, рев голодного гнева — все это сливается в похоронный вой над трупом убитой добычи, разорванной, изнасилованной тысячами насильий, испачканной всей разноцветной грязью земли.

И с этим диким воем сливается в одну волну жалкая скорбь побежденных, которые отброшены в сторону и голодно, противно плачут там о счастье сытости; бороться за него они не могут, трусливые и слабые.

Вот что рисует музыка города.

Воскресенье. Люди не работают.

Поэтому на многих лицах заметно унылое недоумение, почти тревога. Вчерашний день имел простой, определенный смысл — с утра до вечера работали. В обычный час проснулись, пошли на фабрику, в конторы, на улицы. Стояли и сидели на привычных и потому удобных местах. Считали деньги, продавали, рыли землю, рубили дерево, тесали камни, сверлили и ковали — работали руками весь день. Привычно усталые легли спать, а сегодня проснулись, и вот — праздность вопросительно смотрит в глаза, требуя, чтобы пустота ее была чем-то наполнена.

Научив людей работать, их не учили жить, и потому день отдыха является для них трудным днем. Орудия, вполне способные создать машины, храмы, огромные суда и мелкие, красивые вещицы из золота, они не чувствуют себя способными наполнить день чем-либо иным, кроме привычной, механической работы. Куски и части — они спокойны и чувствуют себя людьми на фабриках, в конторах, в магазинах, где они слагаются с подобными себе частями в цельный, стройный организм, торопливо творящий ценности из живого сока нервов своих, но — не для себя.

Шесть дней недели жизнь проста, она — огромная машина, все люди — ее части, каждый знает свое место в ней, каждый думает, что ему знакомо и понятно ее слепое, грязное лицо. В седьмой же день — день отдыха и праздности — жизнь встает перед людьми в



странном, разобранном виде, у нее ломается лицо,— она его теряет...

Люди разбрелись по улицам, сидят в трактирах, в парке, были в церкви, стоят на углах. Как всегда, есть движение, но кажется, что оно через минуту или через час остановится перед чем-то,— чего-то не хватает в жизни, и что-то новое хочет явиться в ней. Никто не сознает своего ощущения, никто не может выразить его словами, но все тягостно чувствуют нечто непривычное, тревожное. Из жизни вдруг выпали все ее мелкие, понятные смыслы, точно зубы из десен.

Люди ходят по улицам, садятся в вагоны, разговаривают, все они наружно спокойны, обычно понятны друг другу — воскресенье бывает пятьдесят два раза в году, они уже выработали себе привычку проводить его одно, как другое. Но каждый чувствует, что он не тот, каким был вчера, и его товарищ тоже не таков,— где-то внутри колыхается сосущая пустота, и возможно, что в ней вдруг прозвучит непонятное, беспокойное, может быть, страшное...

Человек чувствует в себе возможность вопроса, и эта возможность вызывает у него инстинктивное желание избежать встречи с ней...

Невольно люди жмутся один к другому, сливаются в группы, молча стоят на углах улиц, смотрят на все вокруг, к ним подходят еще и еще живые куски, и стремление частей к созданию целого — создает толпу.

...Люди не спеша слагаются один с другим — их стягивает в кучу,— точно магнит опилки железа,— общее всем им ощущение тревожной пустоты в груди. Почти не глядя друг на друга, они становятся плечом к плечу, сдвигаются всё теснее, и — в углу площади образовалось плотное, черное тело со множеством голов. Угрюмо молчаливое, выжидательно напряженное, оно почти неподвижно. Сложилось тело, и тотчас быстро возникает дух, образуется широкое, тусклое лицо, и сотни пустых глаз принимают единое выражение, смотрят одним взглядом — подозрительно ожидающим взглядом, который бессознательно ищет нечто, о чем пугливо доносит инстинкт.

Так рождается страшное животное, которое носит тупое имя «Mob», — толпа.

...Когда по улице проходит некто, чем-либо не похожий на людей, одетый как-то иначе или идущий слишком быстро для обыкновенного человека, — «Моб» следит за ним, повертывая в его сторону сотни своих голов и щупая его всеобнимающим взглядом.

Почему он не одевается, как все? Это подозрительно. И что могло заставить его идти так быстро по этой улице в день, когда все ходят медленно? Это странно...

Идут двое молодых людей и громко смеются. «Моб» напрягает внимание. Над чем смеяться в этой жизни, где все так непонятно, когда нет работы? Смех вызывает в животном легкое раздражение, враждебное веселью. Несколько голов угрюмо поворачиваются во след весельчакам, ворчат...

Но «Моб» сама смеется, когда она видит, как на площади торговец газетами мечется среди вагонов трамвая, с трех сторон набегающих на него, грозя раздавить. Испуг человека, которому грозит смерть, понятен ей, а все, что она понимает в таинственной суете жизни, радует ее...

Вот едет на автомобиле известный всему городу и даже всей стране — хозяин. «Моб» смотрит на него с глубоким интересом, она сливает свои глаза в один луч, освещающий сухое, костлявое и желтое лицо хозяина тусклым блеском уважения к нему. Так смотрят старые, еще в детстве укрощенные медведи на своего укротителя. «Моб» понимает хозяина — это сила. Это великий человек — тысячи работают для того, чтобы он жил, тысячи! В хозяине для «Моб» есть совершенно ясный смысл, — хозяин дает работу. Но вот — в вагоне трамвая сидит седой человек, у него суровое лицо и строгие глаза. «Моб» тоже знает, кто он, о нем часто пишут в газетах как о сумасшедшем, который хочет разрушить государство, отнять все фабрики, железные дороги, суда, — все отнять... Газеты говорят, что это — безумная и смешная затея. Толпа смотрит на старика с укором, с холодным осуждением, с пренебрежительным любопытством. Сумасшедший — это всегда любопытно.

«Моб» только ощущает, она только видит. Она не может претворять своих впечатлений в мысли, душа ее — нема и сердце — слепо.

...Люди идут, идут один за другим, и непонятно, странно, необъяснимо — куда, зачем они идут? Их

страшно много, и они разнообразны гораздо более, чем куски железа, дерева, камня, разнообразнее монет, материй и всех орудий, которыми работало вчера животное. Это раздражает «Моб». Она смутно чувствует, что есть другая жизнь, построенная иначе, чем ее, с другими привычками, жизнь, полная чем-то заманчиво неизвестным...

Подозрительное ожидание опасности медленно питается чувством раздражения, оно тонкими иглами царапает слепое сердце животного. Его глаза становятся темнее, плотное, бесформенное тело заметно напрягается, вздрагивает, обнимаемое бессознательным волнением...

Мелькают люди, летят вагоны, автомобили... В окнах магазинов дразнят взгляд какие-то блестящие вещи. Их назначение неизвестно, но они тянут к себе внимание, вызывают желание обладать ими...

«Моб» волнуется...

Она смутно чувствует себя одинокой в этой жизни, одинокой и отрицаемой всеми нарядными людьми. Она замечает, как чисто вымыты их шеи, как тонки и белы руки, лица их лоснятся и блестят спокойной сытостью — невольно представляется пища, которую пожирают эти люди каждый день. Должно быть, это удивительно вкусные вещи, если от них так хорошо блестит кожа и так кругло-красиво вырастают животы...

«Моб» чувствует во чреве своем зависть, которая остро щекочет ей желудок.

В дорогих и легких колясках едут красивые, гибкие женщины. Они вызывающе лежат на подушках, вытянув маленькие ноги, лица их как звезды, красивые глаза зовут людей улыбнуться.

«Смотрите, как мы прекрасны!» — молча рассказывают женщины.

Толпа внимательно смотрит и сравнивает этих женщин со своими женами. Очень костлявые или слишком толстые, жены всегда жадны и часто хворают. У них особенно часто болят зубы и расстраиваются желудки. И постоянно ругаются они одна с другой.

«Моб» чувственно раздевает женщин в колясках, щупает их груди, ноги. И, представляя нагое, сытое, упругое, сверкающее тело женщин, — «Моб» не может

сдержать острое чувство восхищения, она вслух обменивается сама с собой словами, от которых пахнет горячим, жирным потом, словами краткими и сильными, как пощечина тяжелой, грязной руки...

«Моб» хочет женщину. Ее глаза горят, жадно обнимая мелькающие мимо тонкие, крепкие тела красавиц.

Сверкают дети, звучит их смех и крики. Чисто одетые, здоровые дети, на прямых и стройных ногах. Розовощекие, веселые...

Дети «Моб» худосочны, желты, ноги у них почему-то кривые. Это очень часто — кривые ноги у детей. Должно быть, тут виноваты матери, они что-нибудь делают не так, когда родят...

Сравнения рождают зависть в темном сердце «Моб».

Теперь к раздражению толпы примешивается враждебность, которая всегда пышно растет на плодородной почве зависти. Черное, огромное тело неуклюже двигает своими частями, сотни глаз внимательно и колко встречают все, что незнакомо и непонятно им.

«Моб» чувствует, что у нее есть враг, хитрый, сильный, рассеянный повсюду и потому неуловимый. Он где-то близко и — нигде. Он забрал себе все вкусные вещи, красивых женщин, розовых детей, коляски, яркие шелковые ткани и раздает все это кому хочет, но — не «Моб». Ее он презирает, отрицает и не видит, как и она его...

«Моб» ищет, нюхает, следит за всем. Но все обычно, и хотя в жизни улиц есть много нового, неизвестного ей, оно течет, мелькает мимо, не задевая туго натянутых струн ее враждебности, неясного желания поймать кого-то и раздавить.

Посреди площади стоит полицейский в серой шляпе. Его бритое лицо блестит, точно медь. Этот человек непобедимо силен, потому что у него в руках короткая, толстая палка, налитая свинцом.

«Моб» искоса поглядывает на эту палку. Она знает палки, она видела их сотни тысяч, и все они — просто дерево или железо.

Но в этой — короткой и тупой — сокрыта дьявольская сила, против которой нельзя идти, невозможно.

«Моб» глухо и слепо враждебна всему, она волнуется, она готова на что-то страшное. И невольно меряет глазами короткую, тупую палку...

В темном хламе бессознательного всегда тлеет страх...

Жизнь непрерывно ревет, неустанная в своем движении. Откуда в ней эта энергия, когда «Моб» не работает?

И все с большей ясностью толпа чувствует свое одиночество, ощущает какой-то обман и, все более раздражаясь, зорко ищет, на что бы положить свою руку.

Она становится теперь чуткой и восприимчивой — ничто новое для нее не проходит мимо не замеченное ею. Она теперь осмеивает резко и зло, и человек в слишком широкой серой шляпе должен ускорить шаги под насмешливыми уколами ее взглядов и бичами ее восклицаний. Женщина, переходя площадь, чуть-чуть подняла юбки, но, увидав, какими глазами толпа смотрит на ее ноги, тотчас же, как будто ее ударили по руке, расправила пальцы, державшие материю...

На площадь откуда-то вываливается пьяный. Он идет, опустив голову на грудь, бормочет что-то, и его тело, размытое вином, бессильно качается, готовое каждую секунду упасть, разбиться о мостовую, о рельсы...

Он сунул одну руку в карман, в другой у него измятая, пыльная шляпа, он размахивает ею и ничего не видит.

На площади, попадая в дикий вихрь металлических звуков, он немного приходит в себя, останавливается и смотрит вокруг влажными, туманными глазами. Со всех сторон на него летят вагоны, коляски, — двигается какая-то длинная нить, на которой нанизаны темные бусы. Раздражительно звонят колокольчики вагонов, предупреждая его, цокают подковы лошадей, все гудит, гремит, лезет на него.

«Моб» чувствует возможность чего-то, что, может быть, немного развлечет ее. Она снова сливает сотни своих взглядов в один луч и следит, ждет...

Кондуктор вагона звонит и орет пьяному, он перегнулся через перила, лицо его красно от крика, — пьяный дружески машет ему шляпой и шагает на рельсы



под вагон. Откинувшись всем корпусом назад, закрыв глаза, кондуктор с силою поворачивает ручку, вагон весь вздрагивает и с треском останавливается...

Пьяный шагает дальше — он надел шляпу на голову и снова наклонил лицо к земле.

Но из-за первого вагона, не торопясь, выскальзывает другой и подшибает ноги пьяного, он грузно валится сначала в сетку, потом мягко падает с нее на рельсы, и сетка толкает, везет его скомканное тело по земле.

Видно, как хлопают по земле руки и ноги пьяного. Краснó и тонко улыбнулась кровь, точно подманивая к себе кого-то...

Раздается резкий визг женщин в вагоне, но все звуки тотчас гаснут в густом, торжествующем вопле «Моб» — точно на них вдруг кинули тяжелое покрывало, влажное и давящее. Тревожный звон колокольчиков, удары копыт, вой электричества — все сразу задушено ужасом перед черной волной, волной толпы, которая с животным ревом бросилась вперед, ударилась о вагоны, облила, захлестнула их темными брызгами и начала работать.

Пугливо и кратко вздрагивают разбиваемые стекла в окнах вагона. Ничего не видно, только бьется и трепещет огромное тело «Моб», и ничего не слышно, кроме ее вопля, возбужденного крика, которым она радостно возвещает о себе, о своей силе, о том, что наконец и она тоже нашла свое дело.

В воздухе мелькают сотни больших рук, блестят десятки глаз жадным блеском странного, острого голода.

Кого-то бьет она, черная «Моб», кого-то разрывает, кому-то мстит...

Из бури ее слитных криков все чаще раздается, сверкает, точно длинный, гибкий нож, шипящее слово:  
— Линч!

Оно имеет магическую силу объединять все смутные желания «Моб», оно все гуще сливает в себе ее крики:

— Линч!

Несколько частей толпы вскинулись на крыши вагонов, и оттуда тоже вьется по воздуху, свистя, как бич, и мягко извиваясь:

— Линч!

Вот в центре ее образовалась плотное ядро, оно поглотило, всосало что-то в себя и двигается, вытекает из толпы. Ее густое тело послушно раздается перед натиском из центра и, постепенно разрываясь, выдвигает из недр своих этот плотный, черный ком — свою голову, свою пасть.

В зубах этой пасти качается оборванный, окровавленный человек — он был кондуктором вагона, как это видно по нашивкам на его лохмотьях.

Теперь он — кусок изжеванного мяса, — свежего мяса, вызывающе вкусно облитого яркой кровью.

Черная пасть толпы несет его и продолжает жевать, и руки ее, точно щупальцы спрута, обвивают это тело без лица.

«Моб» воет:

— Линч!

И слагается за головой своей в длинное, плотное туловище, готовое проглотить множество свежего мяса.

Но вдруг откуда-то перед нею встает бритый человек с медным лицом. Он надвинул свою серую шляпу на глаза, встал, точно серый камень, на дороге толпы и молча поднял в воздух свою палку.

Голова толпы пошатнулась вправо, влево, желая ускользнуть от этой палки, обойти ее.

Полицейский неподвижен, палка в руке его не вздрагивает, и не мигают его спокойные, твердые глаза.

Эта уверенность в своей силе сразу веет холодом в горячее лицо «Моб».

Если человек один встает на ее дороге, один, против ее желания, тяжелого и сильного, как лава, если он так спокоен — значит, он непобедим!..

Она что-то кричит ему в лицо, размахивает щупальцами, как будто хочет обнять ими широкие плечи полицейского, но уже в ее крике, хотя и раздраженном, звучит нечто жалобное. И, когда медное лицо полицейского тускло темнеет, когда его рука еще выше поднимает короткую, тупую палку, — рев толпы начинает странно прерываться, и туловище ее постоянно, медленно разваливается, хотя голова «Моб» все еще спорит, мотается из стороны в сторону, хочет ползти дальше.

Вот идут, не торопясь, еще двое людей с палками. Щупальцы «Моб» бессильно выпускают охваченное



ими тело, оно падает на колени, раскидываясь у ног представителя закона, и он простирает над ним короткий и тупой символ своей власти...

Голова «Mob» тоже медленно распадается на части,— туловища у нее уже нет,— по площади устало и подавленно расползаются темные фигуры людей,— точно черные бусы огромного ожерелья рассыпались по ее грязному кругу.

В желоба улиц молча и угрюмо идут разорванные, разрозненные люди...



## **МОИ ИНТЕРВЬЮ**



## **КОРОЛЬ, КОТОРЫЙ ВЫСОКО ДЕРЖИТ СВОЕ ЗНАМЯ**

...Слуга, вооруженный длинной саблей и украшенный множеством пестрых орденов, провел меня в кабинет его величества и встал у двери рядом со мной, не спуская глаз с моих рук.

Король отсутствовал, и я принялся внимательно осматривать лабораторию, в которой великий человек творил дела свои, удивлявшие весь мир. Кабинет его величества представлял собою комнату длиною футов в двести и шириною не менее ста футов.

Потолок был сделан из стекла. У левой стены находился огромный бассейн, в котором плавали модели военных судов. По стене тянулись полки, и на них симметрично стояли маленькие фигурки солдат, одетые в разнообразные формы. Правая стена была сплошь занята мольбертами, на которых стояли начатые картины, а перед ними в пол были вделаны большие куски черного дерева и слоновой кости, расположенные в порядке клавиатуры рояля.

Все остальное тоже было величественно.

— Послушайте, мой друг,— обратился я к лакею.

Но он громыхнул саблей и возразил:

— Я церемониймейстер...

— Очень рад,— сказал я,— но объясните мне...

— Когда его величество выйдет и поздоровается с вами,— что вы ему скажете? — спросил он, прерывая меня.

— «Здравствуйте!» — ответил я.

— Это будет дерзко! — внушительно предупредил он меня и стал учить, как нужно отвечать королю.

Его величество вошло крепкими шагами существа, уверенного, что дворец его построен прочно. Величию осязаний его величества очень способствует то, что оно не сгибает ног и, держа руки по швам, не двигает ни одним членом. Глаза его тоже неподвижны, какими и должны быть глаза существа прямолинейного и привыкшего смотреть в будущее.

Я поклонился ему, мой спутник отдал честь, его величество милостиво пошевелило усами.

— Чем я могу осчастливить вас? — спросило оно торжественным голосом.

— Я пришел, чтобы испытать несколько капель бессмертной влаги из океана вашей мудрости, ваше величество! — ответил я, как меня научили.

— Надеюсь, я не стану после этого глупее? — остроумно заметил король.

— Это невозможно для вас, ваше величество! — почтительно поддержал я его тонкую шутку.

— Так будем говорить! — сказал он. — С Королями следует говорить стоя, но вы можете сесть.... если это вас не стесняет...

Я быстро привыкаю к новым положениям и потому — сел. Его величество молча подняло плечи и опустило их. Когда король говорит, я заметил, что язык у него двигается, все же остальное хранит величавую неподвижность. Оно сделало два шага одинаковой меры в сторону от меня и продолжало, стоя среди компаты подобно монументу:

— Итак, вы видите пред собой Короля, то есть Меня. Не каждый может сказать о себе: я видел Короля! Что вы хотите знать?

— Как вам нравится ваше ремесло? — спросил я.

— Быть Королем — не ремесло, а призвание! — рнушительно сказала оно. — Бог и Король — два существа, бытие которых непостижимо умом.

Оно подняло руку вверх, вытянув ее вертикально, в одну линию с туловищем, и, указывая пальцем в стекло потолка, продолжало:

— Это сделано для того, чтобы бог всегда видел, что делает Король. Только бог понимает Короля, только он может контролировать Его... Король и бог — творцы. Раз! Два! И бог создал мир!.. Р-раз! Два! Три! И мой дед создает Германию. А я — совершенствую ее. Я и верноподданный моих предков, некто



Гете,— мы, пожалуй, больше всех сделали для немцев. Может быть, я даже немного более, чем Гете. Во всяком случае, я, несомненно, разнообразнее его. Его Фауст, в конце концов, просто человек сомнительной нравственности. Я показал миру бронированного Фауста. Это было понято всеми и сразу, чего нельзя сказать о второй части книги Гете. Да...

— Вы много времени посвящаете искусству, ваше величество? — спросил я.

— Всю жизнь! — сказал он, — всю жизнь. Управлять народом — труднейшее из искусств. Чтобы постигнуть его в совершенстве, нужно знать все. Я — все знаю! Поэзия — стихия Королей. Нужно видеть меня на параде, чтобы понять, как я влюблен во все прекрасное и стройное. Истинная поэзия, скажу вам, это поэзия дисциплины. Ее можно понять только на параде и в стихах. Полк солдат — вот поэма! Слово в строке стиха и солдат в строю — это одно и то же... Сонет — это взвод слов, имеющий целью атаку вашего сердца. В штыки! И в сердце вам вонзается ряд красивых созвучий. Пли! И ваш ум прострелен десятком метких слов... Стихи и солдаты — это одно и то же, говорю вам. Король — первый солдат страны, он ее божественное слово, он же и первый поэт ее... Вот почему я так прекрасно марширую и легко владею стихом... Смотрите. Марррш!

Его левая нога немедленно поднялась кверху, и вслед за нею правая рука взлетела на уровень плеча.

— Смиррно! — скомандовал король. Нога и рука моментально заняли свои места. Он продолжал:

— Это называется свободной дисциплиной членов. Она действует независимо от сознания. Взмах ноги уже сам поднимает руку — раз! Мозг здесь не играет никакой роли. Это почти чудесно. Вот почему лучший солдат тот, у которого мозг совершенно не действует. Солдата приводит в движение не сознание, а звук команды... Марррш! Он идет в рай, в ад, куда угодно. В штыки! Он колет своего отца, — если его отец социалист, — мать, брата... это все равно! Он действует, пока не услышит — стой! Изумительно величественны эти действия без мысли!..

Он вздохнул и продолжал все тем же ровным и крепким голосом:

— Может быть, я создам идеальное государство... Я или один из моих потомков. Для этого нужно только, чтобы все люди в стране почувствовали красоту дисциплины. Когда человек совершенно перестанет думать, Короли будут велики и народы счастливы. Денег! — командует Король. Все верноподданные выстраиваются в ряд. Раз! — Сорок миллионов рук молча опускаются в карманы. Два! — Сорок миллионов рук протягивают Королю по десяти марок каждая. Три! — Сорок миллионов рук отдают Королю честь, и затем люди молча идут к своим трудам. Разве это не прекрасно? Вы видите, для счастья людей не нужно мозга: за них думает Король. Король способен охватить всю жизнь... К этому я и стремлюсь... Но пока я один понимаю роль Короля так глубоко... Не все Короли ведут себя достойно сану. Родные по крови, они не всегда братья по духу. Они должны объединиться все в одну силу. Это очень легко сделать именно сейчас. Следует обратить больше внимания на социализм: в нем есть нечто полезное для Королей. Красный призрак социализма наводит ужас на всех порядочных людей земли. Он хочет пожрать душу культурного общества — его собственность. Короли объединяют всех и все для борьбы с этим чудовищем и становятся во главе, как древние вожди. Нужно способствовать развитию страха перед социализмом. И, когда общество обезумеет, Короли встанут во весь рост. Прошло время, когда Короли давали конституции, — пора уже брать их назад!

Он перевел дух и продолжал; я слушал его и задыхался... от наслаждения мудростью.

— Вот программа всякого Короля наших дней! И, когда мой военный флот будет достаточен для того, чтобы предложить эту программу всем Королям Европы, я уверен, они примут ее... А пока я занимаюсь мирным, культурным трудом, совершенствую мой добрый народ. Я овладел всеми искусствами и поставил их на караул к идее божественного происхождения власти Короля. Вы видели мою «Аллею Победы»? В ней муза скульптуры показывает немцам, как много было на земле Габсбургов и Гогенцоллернов. Человек, который дважды пройдет по этому месту взад и вперед — раз-два! раз-два! — уже знает, что все мои предки были великие люди. Это пробуждает в нем гор-



дость Королями своей страны и незаметно делает из него искреннего поклонника королевской власти. Со временем я поставлю статуи предков на всех улицах моих городов. Человек увидит, как много было Королей в прошлом, и тогда признает, что и в будущем ему не обойтись без этого. Скульптура полезна людям, но я первый показал это с такой силой!

— Ваше величество,— спросил я,— почему у большинства ваших предков кривые ноги?

— Их всех делали в одной и той же мастерской надгробных памятников. Но это никому не мешает видеть величие их духа. А вы слышали мою музыку? Нет? Я покажу вам, как я ее делаю.

Он величаво сложил свое прямолинейное тело в форму штыка, сел на стул и, протянув ногу, сказал слуге, который ввел меня:

— Граф! Помогите мне снять сапоги. Так... И носки... Благодарю! Хотя Король не обязан благодарить подданных за услуги... это делается им из вежливости!

Завернув брюки до колен, он согнул шею под углом в сорок пять градусов и внимательно осмотрел свои ноги.

— Я прикажу отлить их из бронзы еще при жизни моей! — сказал он. — Пусть отольют несколько десятков экземпляров для будущих статуй. Ноги Короля должны быть прямы, это верно. Кривые, они могут внушить мысль о несовершенстве Короля.

Он подошел к правой стене, взял в руки кисть и, сделав пол-оборота налево, продолжал:

— Музыкой и живописью я занимаюсь в одно время. Смотрите: в пол вделаны клавиши, а инструмент под полом. Ноты записывает механический аппарат, тоже скрытый под полом. Я рисую картину — раз! — Он провел кистью по полотну одного из мольбертов.

— И топаю ногой по клавишам — два! — Раздался очень сильный звук.

— Вот и всё! — сказал он. — Это очень просто и сохраняет время, которого у Королей всегда мало. Бог должен бы удваивать годы земной жизни вождей народа. Мы все так искренне преданы работе для счастья наших подданных, что вовсе не спешим променять это дело на радости жизни вечной... Но я все отвлекаюсь. Мысли Королей текут неустанно, как воды рек. Король обязан думать за всех подданных, и, кроме него, ни-

кто не должен делать это... если ему не приказано властью... Теперь я познакомлю вас с новой пьесой... Я только вчера натопап ее...

Он взял лист нотной бумаги и, водя по нем пальцем, рассказывал:

— Вот шеренга нот среднего регистра... Видите, в каком строгом порядке стоят они? Тра-та-там. Тра-та-там. На следующей линейке они идут в гору, как бы на приступ!.. Идут быстро, рассыпанной цепью... Ра-та-та-та-та! Это очень эффектно. Напоминает о коликах в желудке, потом вы узнаете — почему. Далее, они снова выравниваются в строго прямую линию по команде этой ноты — бумм! Нечто вроде сигнального выстрела... или внезапной спазмы в животе. Здесь они разбились на отдельные группы... десятки ударов! треск костей!.. Эта нота звучит все время непрерывно, как боль вывиха. И, наконец, все ноты дружным натиском в одно место — рррам! ррата-там! Бум! Здесь полный беспорядок в нотах, но это так нужно. Это — финал, картина всеобщего ликования...

— Как называется эта штука? — спросил я, сильно заинтересованный описанием.

— Эта пьеса, — сказал король, — эта пьеса называется: «Рождение Короля». Мой первый опыт проповеди абсолютизма посредством музыки... Неглупо? А?

Он, видимо, был доволен собой. Его усы шевелились очень энергично.

— Среди моих подданных было несколько недурных музыкантов и до меня, но теперь я решил сам заняться этим делом, чтобы все плясали только под мою музыку.

Он пошевелил усами, очевидно, с намерением улыбнуться и, сделав пол-оборота направо, продолжал:

— Теперь смотрите сюда... Как вы думаете, что это такое?

На огромном полотне ярко-красной краской было написано чудовище без головы и со множеством рук. В каждой из них были пучки молниевидного огня. На одном пучке черными буквами было написано: «Анархия», на другом: «Атеизм», третий носил название: «Гибель частной собственности», четвертый: «Зверство»... Чудовище шагало по городам и селам, всюду разбрасывая огненные молнии и зажигая пожары. Маленькие черные люди в смятении и ужасе бежали

прочь от него, а сзади чудовища шли ликующей толпой красные люди. Они были без глаз и с ног до головы обросли огненно-рыжей шерстью, подобно гориллам. Художник не пожалел красной краски. Картина поражала глаза своей величиной.

— Ужасно? — спросил король.

— Ужасно! — согласился я.

— Это как раз то, что нужно, — сказал он, и его глаза сделали полный оборот справа налево. — Вы, конечно, поняли мою идею? Ну да, — это социализм. Видите: у него нет головы, он сеет пороки, распространяет анархию и делает людей животными. Ясно, что это социализм. Вот что значит — работать энергично! В то время как нижняя половина моего тела утверждает идею власти Короля, верхняя занята борьбой с главным врагом этой власти. Никогда еще искусство не исполняло своего долга так ревностно, как в мое царствование!

— Но ценят ли подданные тяжелые труды вашего величества? — спросил я.

— Ценят ли они меня? — переспросил он, и в голосе его мне послышалась усталость. — Должны бы. Я создал им десятки броненосцев, застроил целые улицы скульптурой, делаю музыку и картины, служу литургии... Но... Иногда мне приходит в голову грешная мысль... Мне кажется, что подданные, которые любят меня, — глупы, а умные — все социалисты. Есть еще либералы. Но, как всегда, либералы слишком многого хотят для себя и слишком мало оставляют Королю, хотя тоже ничего не дают народу. Вообще они только мешают. Лишь абсолютная власть Короля может спасти народ от социализма. Но, кажется, никто не понимает этого...

Он сложился в двух местах правильными углами и сел. Его глаза задумчиво перекатывались в орбитах слева направо, и по всей фигуре разлилась меланхолия. Видя, что он утомился, я поставил ему мой последний вопрос:

— Что еще скажете вы, ваше величество, по вопросу о божественном происхождении королевской власти?

— Все, что угодно! — быстро отозвался он. — Прежде всего она непоколебима, и только она одна истинна, ибо она — чудесна! После того как миллионы

народов на протяжении тысяч лет признавали над собой неограниченную власть одного человека,— только одни идиоты могут отрицать ее... это ясно. Я — Король, да, но — я человек, и если я вижу, что люди подчиняются моей воле, я должен признать это чудом... не правда ли? Не могу же я предположить, что именно эти миллионы сплошь состоят из идиотов! Щадя их самолюбие, я хочу думать, что они-то и есть умные люди. Я был бы плохим Королем, если бы думал так дурно о моих подданных. И так как только бог может творить чудеса, ясно, что я избран им для доказательства его силы и моих достоинств. Что можно против этого возразить? Именно здесь скрыта истина, и она тверда, подобно алмазу, потому что за нее большинство...

В его глазах появился влажный блеск удовольствия, но он быстро погас, и его величество вздохнуло, подобно машине военного корабля, выпускающего отработанный пар.

— Не смею задерживать более ваше величество! — сказал я, поднимаясь со стула.

— Хорошо! — милостиво сказал мне вождь великого народа.— Прощайте. Желаю вам... чего бы пожелать вам наиболее приятного? Н-но, желаю вам еще раз в жизни видеть Короля!

Он величаво опустил нижнюю губу и милостиво поднял усы. Я принял это за его поклон и отправился в Зоологический сад посмотреть на умных животных...

Иногда, после беседы с человеком, так страстно хочется дружески приласкать собаку, улыбнуться обезьяне, почтительно снять шляпу перед слоном...

## **ОДИН ИЗ КОРОЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ**

...Стальные, керосиновые и все другие короли Соединенных Штатов всегда смущали мое воображение. Людей, у которых так много денег, я не мог себе представить обыкновенными людьми.

Мне казалось, что у каждого из них по крайней мере три желудка и полтора ста штук зубов во рту. Я был уверен, что миллионер каждый день с шести часов утра и до двенадцати ночи все время без отдыха — ест. Он истребляет самую дорогую пищу: гусей, индеек, поросят, редиску с маслом, пудинги, кэмп

и прочие вкусные вещи. К вечеру он так устает работать челюстями, что приказывает жевать пищу неграм, а сам уж только проглатывает ее. Наконец, он совершенно теряет энергию, и, облитого потом, задыхающегося, негры уносят его спать. А наутро, с шести часов, он снова начинает свою мучительную жизнь.

Однако и такое напряжение сил не позволяет ему проесть даже половину процентов с капитала.

Разумеется, такая жизнь тяжела. Но — что же делать? Какой смысл быть миллионером, если ты не можешь съесть больше, чем обыкновенный человек?

Мне казалось, он должен носить белье из парчи, каблуки его сапог подбиты золотыми гвоздями, а на голове, вместо шляпы, что-нибудь из бриллиантов. Его сюртук сшит из самого дорогого бархата, имеет не менее пятидесяти футов длины и украшен золотыми пуговицами в количестве не меньше трехсот штук. По праздникам он надевает сразу восемь сюртуков и шесть пар брюк. Конечно, это и неудобно, и стесняет... Но, будучи таким богатым, нельзя же одеваться, как все...

Карман миллионера я понимал как яму, куда свободно можно спрятать церковь, здание сената и все, что нужно... Однако, представляя емкость живота такого джентльмена подобной трюму хорошего морского парохода,— я не мог вообразить длину ноги и брюк этого существа. Но я думал, что одеяло, под которым он спит, должно быть не меньше квадратной мили. И если он жует табак, то, разумеется, самый лучший и фунта по два сразу. А если нюхает, так не меньше фунта на один прием. Деньги требуют, чтобы их травили....

Пальцы его рук обладают удивительным чутьем и волшебной силой удлиняться по желанию: если он, сидя в Нью-Йорке, почувствует, что где-то в Сибири вырос доллар,— он протягивает руку через Берингов пролив и срывает любимое растение, не сходя с места.

Странно, что при всем этом я не мог представить — какой вид имеет голова чудовища. Более того, голова казалась мне совершенно лишней при этой массе мускулов и кости, одушевленной влечением выжимать из всего золото. Вообще мое представление о миллионере не имело законченной формы. В кратких словах, это были прежде всего длинные эластичные руки.



Они охватили весь земной шар, приблизили его к большой, темной пасти, и эта пасть сосет, грызет и жует нашу планету, обливая ее жадной слюной, как горячую печеную картофелину...

Можете вообразить мое изумление, когда я, встретив миллионера, увидел, что это самый обыкновенный человек.

Передо мной сидел в глубоком кресле длинный, сухой старик, спокойно сложив на животе нормально-го размера коричневые сморщенные руки обычной человеческой величины. Дряблая кожа его лица была тщательно выбрита, устало опущенная нижняя губа открывала хорошо сделанные челюсти, они были усажены золотыми зубами. Верхняя губа — бритая, бескровная и тонкая — плотно прилипла к его жевательной машинке, и когда старик говорил, она почти не двигалась. Его бесцветные глаза не имели бровей, матовый череп был лишен волос. Казалось, что этому лицу немного не хватало кожи и все оно — красноватое, неподвижное и гладкое — напоминало о лице новорожденного ребенка. Трудно было определить — начинает это существо свою жизнь или уже подошло к ее концу... Одет он был тоже как простой смертный. Перстень, часы и зубы — это все золото, какое было на нем. Взятые вместе, оно весило, вероятно, менее полфунта. В общем, этот человек напоминал собой старого слугу из аристократического дома Европы...

Обстановка комнаты, в которой он принял меня, не поражала роскошью, не восхищала красотой. Мебель была солидная, вот все, что можно сказать о ней.

«Вероятно, в этот дом иногда заходят слоны...» — вот какую мысль вызывала мебель.

— Это вы... миллионер? — спросил я, не веря своим глазам.

— О да! — ответил он, убежденно кивая головой.

Я сделал вид, что верю ему, и решил сразу вывести его на чистую воду.

— Сколько вы можете съесть мяса за завтраком? — поставил я ему вопрос.

— Я не ем мяса! — объявил он. — Ломтик апельсина, яйцо, маленькая чашка чая — вот все...

Его невинные глаза младенца тускло блестели передо мной, как две большие капли мутной воды, и я не видел в них ни одной искры лжи.

— Хорошо! — сказал я в недоумении. — Но будьте искренни, скажите мне откровенно — сколько раз в день едите вы?

— Два! — спокойно ответил он. — Завтрак и обед — это вполне достаточно для меня. На обед тарелка супу, белое мясо и что-нибудь сладкое. Фрукты. Чашка кофе. Сигара...

Мое изумление росло с быстротой тыквы. Он смотрел на меня глазами святого. Я перевел дух и сказал:

— Но если это правда, — что же вы делаете с вашими деньгами?

Тогда он немного приподнял плечи, его глаза повелились в орбитах, и он ответил:

— Я делаю ими еще деньги.

— Зачем?

— Чтобы сделать еще деньги...

— Зачем? — повторил я.

Он наклонился ко мне, упираясь локтями в ручки кресла, и с оттенком некоторого любопытства спросил:

— Вы — сумасшедший?

— А вы? — ответил я вопросом.

Старик наклонил голову и сквозь золото зубов протянул:

— Забавный малый... Я, может быть, первый раз вижу такого...

После этого он поднял голову и, растянув рот далеко к ушам, стал молча рассматривать меня. Судя по спокойствию его лица, он, видимо, считал себя вполне нормальным человеком. В его галстухе я заметил булавку с небольшим бриллиантом. Имей этот камень величину каблука, я еще понял бы что-нибудь.

— Чем же вы занимаетесь? — спросил я.

— Делаю деньги! — кратко сказал он, подняв плечи.

— Фальшивый монетчик? — с радостью воскликнул я; мне показалось, что я приближаюсь к открытию тайны. Но тут он начал негромко икать. Все его тело вздрагивало, как будто невидимая рука щекотала его под мышками. Его глаза часто мигали.

— Это весело! — сказал он, успокоясь и обливая мое лицо влагой довольного взгляда. — Спросите еще что-нибудь! — предложил он и зачем-то надул щеку.

Я подумал и твердо поставил ему вопрос:

— Как вы делаете деньги?



— А! Понимаю! — сказал он, кивая головой. — Это очень просто. У меня железные дороги. Фермеры производят товар. Я его доставляю на рынки. Рассчитываешь, сколько нужно оставить фермеру денег, чтобы он не умер с голоду и мог работать дальше, а все остальное берешь себе как тариф за провоз. Очень просто.

— Фермеры довольны этим?

— Не все, я думаю! — сказал он с детской простотой. — Но, говорят, все люди ничем и никогда не могут быть довольны. Всегда есть чудачки, которые ворчат...

— Правительство не мешает вам? — скромно спросил я.

— Правительство? — повторил он и задумался, потирая пальцами лоб. Потом, как бы вспомнив что-то, кивнул головой. — Ага... Это те... в Вашингтоне. Нет, они не мешают. Это очень хорошие ребята. Среди них есть кое-кто из моего клуба. Но их редко видишь... Поэтому иногда забываешь о них. Нет, они не мешают, — повторил он и тотчас же с любопытством спросил: — А разве есть правительства, которые мешают людям делать деньги?

Я почувствовал себя смущенным моей наивностью и его мудростью.

— Нет, — тихо сказал я, — я не о том... Я, видите ли, думал, что иногда правительство должно бы запрещать явный грабеж...

— Н-но! — возразил он. — Это идеализм. Здесь это не принято. Правительство не имеет права вмешиваться в частные дела...

Моя скромность увеличилась перед этой спокойной мудростью ребенка.

— Но разве разорение одним человеком многих — частное дело? — вежливо осведомился я.

— Разорение? — повторил он, широко открыв глаза. — Разорение — это когда дороги рабочие руки. И когда стачка. Но у нас есть эмигранты. Они всегда понижают плату рабочим и охотно замещают стачечников. Когда их наберется в страну достаточно для того, чтобы они дешево работали и много покупали, — все будет хорошо.

Он несколько оживился и стал менее похож на старика и младенца, смешанных в одном лице. Его тон-

кие, темные пальцы зашевелились, и сухой голос быстрее затрещал в моих ушах.

— Правительство? Это, пожалуй, интересный вопрос, да. Хорошее правительство необходимо. Оно разрешает такие задачи: в стране должно быть столько народа, сколько мне нужно для того, чтобы он купил у меня все, что я хочу продать. Рабочих должно быть столько, чтобы я в них не нуждался. Но — ни одного лишнего! Тогда — не будет социалистов. И стачек. Правительство не должно брать высоких налогов. Все, что может дать народ, — я сам возьму. Вот что я называю — хорошее правительство.

«Он обнаруживает глупость — это несомненный признак сознания своего величия, — подумал я. — Пожалуй, он действительно король...»

— Мне нужно, — продолжал он уверенным и твердым тоном, — чтобы в стране был порядок. Правительство нанимает за небольшую плату разных философов, которые не менее восьми часов каждое воскресенье учат народ уважать законы. Если для этого недостаточно философов — пускайте в дело солдат. Здесь важны не приемы, а только результаты. Потребитель и рабочий обязаны уважать законы. Вот и все! — закончил он, играя пальцами.

«Нет, он не глуп, едва ли он король!» — подумал я и спросил:

— Вы довольны современным правительством?

Он ответил не сразу:

— Оно делает меньше, чем может. Я говорю: эмигрантов нужно пока пускать в страну. Но у нас есть политическая свобода, которой они пользуются, — за это нужно заплатить. Пусть же каждый из них привозит с собой хотя бы пятьсот долларов. Человек, у которого есть пятьсот долларов, в десять раз лучше того, который имеет только пятьдесят... Дурные люди — бродяги, нищие, больные и прочие лентяи — нигде не нужны...

— Но ведь это сократит приток эмигрантов... — сказал я.

Старик утвердительно кивнул головой.

— Со временем я предложу совершенно закрыть для них двери в страну. А пока пусть каждый привезет немного золота... Это полезно для страны. Потом необходимо увеличить срок для получения граждан-

ских прав. Впоследствии его придется вовсе уничтожить. Пусть те, которые желают работать для американцев,— работают, но совсем не следует давать им права американских граждан. Американцев уже довольно сделано. Каждый из них сам способен позаботиться о том, чтобы население страны увеличивалось. Все это — дело правительства. Его необходимо поставить иначе. Члены правительства все должны быть акционерами в промышленных предприятиях — тогда они скорее и легче поймут интересы страны. Теперь мне нужно покупать сенаторов, чтобы убедить их в необходимости для меня... разных мелочей. Тогда это будет лишнее...

Он вздохнул, дрыгнул ногой и добавил:

— Жизнь видишь правильно только с высоты горы золота.

Теперь, когда его политические взгляды были достаточно ясны, я спросил его:

— А как вы думаете о религии?

— О! — воскликнул он, ударив себя по колену и энергично двигая бровями.— Очень хорошо думаю! Религия — это необходимо народу. Я искренне верю в это. И даже сам по воскресеньям говорю проповеди в церкви... да, как же!

— А что вы говорите? — спросил я.

— Все, что может сказать в церкви истинный христианин, все! — убежденно сказал он.— Я проповедую, конечно, в бедном приходе — бедняки всегда нуждаются в добром слове и отеческом поучении... Я говорю им...

Лицо его на минуту приняло младенческое выражение, но вслед за тем он плотно сжал губы и поднял глаза к потолку, где амуры стыдливо закрывали обнаженное тело толстой женщины с розовой кожей йоркширской свиньи. Бесцветные глаза его отразили в своей глубине пестроту красок на потолке и заблестели разноцветными искрами. Он тихо начал:

— Братья и сестры во Христе! Не поддавайтесь внушениям хитрого Дьявола зависти, гоните прочь от себя все земное. Жизнь на земле кратковременна: человек только до сорока лет хороший работник, после сорока его уже не принимают на фабрики. Жизнь — непрочна. Вы работаете,— неверное движение руки — и машина дробит вам кости,— солнечный удар — и

готово! Вас везде стерегут болезни, всюду несчастья! Бедный человек подобен слепому на крыше высокого дома,— куда бы он ни пошел, он упадет и разобьется, как говорит апостол Иаков, брат апостола Иуды. Братья! Вы не должны ценить земную жизнь, она — создание Дьявола, похитителя душ. Царство ваше, о милые дети Христа, не от мира сего, как и царство Отца вашего,— оно на небесах. И если вы терпеливо, без жалоб, без ропота, тихо окончите ваш земной путь, он примет вас в селениях рая и наградит вас за труды на земле — вечным блаженством. Эта жизнь — только чистилище для ваших душ, и чем больше вы страдаете здесь, тем большее блаженство ждет вас там,— как сказал сам апостол Иуда.

Он указал рукою в потолок, подумал и продолжал холодно и твердо:

— Да, дорогие братья и сестры! Вся эта жизнь пуста и ничтожна, если мы не приносим ее в жертву любви к ближнему, кто бы он ни был. Не отдавайте сердца во власть бесам зависти! Чему вы можете завидовать? Земные блага — это призраки, это игрушки Дьявола. Мы все умрем — богатые и бедные, цари и углекопы, банкиры и чистильщики улиц. В прохладных садах рая, быть может, углекопы станут царями, а царь будет сметать метлой с дорожек сада опавшие листья и бумажки от конфет, которыми вы будете питаться каждый день. Братья! Чего желать на земле, в этом темном лесу греха, где душа плутает, как ребенок? Идите в рай путем любви и кротости, терпите молча всё, что выпадет вам на долю. Любите всех и даже унижающих вас...

Он вновь закрыл глаза и, покачиваясь в кресле, продолжал:

— Не слушайте людей, которые возбуждают в сердцах ваших греховное чувство зависти, указывая вам на бедность одних и богатство других. Эти люди — посланники Дьявола, господь запрещает завидовать ближнему. И богатые бедны, они бедны любовью к ним. «Возлюбите богатого, ибо он есть избранник божий!» — воскликнул Иуда, брат господень, первосвященник храма. Не внимайте проповеди равенства и других измышлений Дьявола. Что значит равенство здесь, на земле? Стремитесь только сравняться друг с другом в чистоте души пред лицом бога вашего.

Несите терпеливо крест ваш, и покорность облегчит вам эту ношу. С вами бог, дети мои, и больше вам ничего не нужно!

Старик замолчал, расширив рот, и, блестя золотом зубов, с торжеством посмотрел на меня.

— Вы хорошо пользуетесь религией! — заметил я.

— О да! Я знаю цену ей, — сказал он. — Повторяю вам — религия необходима для бедных. Мне она нравится. На земле все принадлежит Дьяволу, говорит она. О человек, если хочешь спасти душу, не желай и ничего не трогай здесь, на земле! Ты насладишься жизнью после смерти — на небе все для тебя! Когда люди верят в это — с ними легко иметь дело. Да. Религия — масло. Чем обильнее мы будем смазывать ею машину жизни, тем меньше будет трения частей, тем легче задача машиниста...

«Да, он король!» — решил я и почтительно спросил у этого недавнего потомка свинопаса:

— А вы себя считаете христианином?

— О да, конечно! — воскликнул он с полным убеждением. — Но, — он поднял руку вверх и внушительно сказал: — Я в то же время американец, и, как таковой, я строгий моралист...

Его лицо приняло выражение драматическое: он оттопырил губы и подвинул уши к носу.

— Что вы хотите сказать? — понизив голос, осведомился я.

— Пусть это будет между нами! — тихо предупредил он. — Для американца невозможно признать Христа!

— Невозможно? — шепотом спросил я после паузы.

— Конечно, нет! — подтвердил он тоже шепотом.

— А почему? — спросил я, помолчав.

— Он — незаконнорожденный! — Старик подмигнул мне глазом и оглянулся вокруг. — Вы понимаете? Незаконнорожденный в Америке не может быть не только богом, но даже чиновником. Его нигде не принимают в приличном обществе. За него не выйдет замуж ни одна девушка. О, мы очень строги! А если бы мы признали Христа — нам пришлось бы признавать всех незаконнорожденных порядочными людьми... даже если это дети негра и белой. Подумайте, как это ужасно! А?

Должно быть, это было действительно ужасно — глаза старика позеленели и стали круглыми, как у совы. Он с усилием подтянул нижнюю губу кверху и плотно приклеил ее к зубам. Вероятно, он полагал, что эта гримаса сделает его лицо внушительным и строгим.

— А негра вы никак не можете признать за человека? — осведомился я, подавленный моралью демократической страны.

— Вот наивный малый! — воскликнул он с сожалением. — Да ведь они же черные! И от них пахнет. Мы линчуем негра, лишь только узнаем, что он жил с белой, как с женой. Сейчас его за шею веревкой и на дерево... без проволочек! Мы очень строги, если дело касается морали...

Он внушал мне теперь то почтение, с которым невольно относишься к несвежему трупу. Но я взялся за дело и должен исполнить его до конца. Я продолжал ставить вопросы, желая ускорить процесс истязания правды, свободы, разума и всего светлого, во что я верю.

— Как вы относитесь к социалистам?

— Они-то и есть слуги Дьявола! — быстро отозвался он, ударив себя ладонью по колену. — Социалисты — песок в машине жизни, песок, который, проникая всюду, расстраивает правильную работу механизма. У хорошего правительства не должно быть социалистов. В Америке они рождаются. Значит — люди в Вашингтоне не вполне ясно понимают свои задачи. Они должны лишать социалистов гражданских прав. Это уже кое-что. Я говорю — правительство должно стоять ближе к жизни. Для этого все его члены должны быть набираемы в среде миллионеров. Так!

— Вы очень цельный человек! — сказал я.

— О да! — согласился он, утвердительно кивая головой. Теперь с его лица совершенно исчезло все детское и на щеках явились глубокие морщины.

Мне захотелось спросить его об искусстве.

— Как вы относитесь... — начал я, но он поднял палец и заговорил сам:

— В голове социалиста — атеизм, в животе у него — анархизм. Его душа окрылена Дьяволом крыльями безумия и злобы... Для борьбы с социалистом необходимо иметь больше религии и солдат. Рели-

гия — против атеизма, солдаты — для анархии. Сначала — насыпьте в голову социалиста свинца церковных проповедей. Если это не вылечит его — пусть солдаты набросают ему свинца в живот!..

Он убежденно кивнул головой и твердо сказал:

— Велика сила Дьявола!

— О да! — охотно согласился я.

Впервые наблюдал я силу влияния Желтого Дьявола — Золота — в такой яркой форме. Сухие, про сверленные подагрой и ревматизмом кости старика, его слабое, истощенное тело в мешке старой кожи, вся эта небольшая куча ветхого хлама была теперь воодушевлена холодной и жесткой волей Желтого Отца лжи и духовного разврата. Глаза старика сверкали, как две новые монеты, и весь он стал крепче и суше. Теперь он еще больше походил на слугу, но я уже знал, кто его господин.

— Что вы думаете об искусстве? — спросил я.

Он взглянул на меня, провел рукой по своему лицу и стер с него выражение жесткой злобы. Снова что-то младенческое явилось на этом лице.

— Как вы сказали? — спросил он.

— Что вы думаете об искусстве?

— О! — спокойно отозвался он. — Я не думаю о нем, я просто покупаю его...

— Мне это известно. Но, может быть, у вас есть свои взгляды и требования к нему?

— А! Конечно, я имею требования... Оно должно быть забавно, это искусство, — вот чего я требую. Нужно, чтобы я смеялся. В моем деле мало смешного. Необходимо впрыснуть мозг иногда чем-нибудь успокаивающим... а иногда возбуждающим энергию тела. Когда искусство делают на потолке или на стенах, оно должно возбуждать аппетит... Рекламы следует писать самыми лучшими, яркими красками. Нужно, чтобы реклама схватила вас за нос издали, еще за милю от нее, и сразу привела, куда она зовет. Тогда она оправдает деньги. Статуи или вазы — всегда лучше из бронзы, чем из мрамора или фарфора: прислуга не так часто ломает бронзу, как фарфор. Очень хорошо — бои петухов и травля крыс. Это я видел в Лондоне... очень хорошо! Бокс — тоже хорошо, но не следует допускать убийства... Музыка должна быть патриотична. Марш — это всегда хорошо, но лучший

марш — американский. Америка — лучшая страна мира, — вот почему американская музыка лучше всех на земле. Хорошая музыка всегда там, где хорошие люди. Американцы — лучшие люди земли. У них больше всего денег. Никто не имеет столько денег, как мы. Поэтому к нам скоро приедет весь мир...

Я слушал, как самодовольно болтал этот больной ребенок, и с благодарностью думал о дикарях Тасмании. Говорят, и они тоже людоеды, но у них все-таки развито эстетическое чувство.

— Вы бываете в театре? — спросил я старого раба Желтого Дьявола, чтобы остановить его хвастовство страной, которую он осквернил своей жизнью.

— Театр? О да! Я знаю, это тоже искусство! — уверенно сказал он.

— А что вам нравится в театре?

— Хорошо, когда много молодых дам декольте, а вы сидите выше их! — ответил он, подумав.

— Что вы любите больше всего в театре? — спросил я, приходя в отчаяние.

— О! — воскликнул он, раздвинув рот во всю ширину щек. — Конечно, артисток, как все люди... Если артистки красивы и молоды — они всегда искусны. Но трудно угадать сразу, которая действительно молода. Они все так хорошо притворяются. Я понимаю, это их ремесло. Но иногда думаешь — ага, вот это девушка! Потом оказывается, что ей пятьдесят лет и она имела не менее двухсот любовников. Это уже неприятно... Артистки цирка лучше артисток театра. Они почти всегда моложе и более гибки...

Он, видимо, был хорошим знатоком в этой области. Даже я, закоренелый грешник, всю жизнь утопавший в пороках, многое узнал от него только впервые.

— А как вам нравятся стихи? — спросил я его.

— Стихи? — переспросил он, опуская глаза к сапогам и наморщив лоб. Подумал и, вскинув голову, показал мне все зубы сразу. — Стихи? О да! Мне очень нравятся стихи. Жизнь будет очень весела, когда все начнут печатать рекламы в стихах.

— Кто ваш любимый поэт? — поспешил я поставить другой вопрос.

Старик взглянул на меня в недоумении и медленно спросил:

— Как вы сказали?



Я повторил вопрос.

— Гм... вы очень забавный малый! — сказал он, с сомнением качая головой. — За что же буду я любить поэта? И зачем нужно любить его?

— Извините меня! — произнес я, отирая пот со лба. — Я хотел спросить вас, какая ваша любимая книга? Я исключаю книжку чеков...

— О! Это другое дело! — согласился он. — Я люблю две книги — Библию и Главную Бухгалтерскую. Они обе одинаково вдохновляют ум. Уже когда берешь их в руки, — чувствуешь, что в них сила, которая дает тебе все, что нужно.

«Он издевается надо мной!» — подумал я и внимательно взглянул в его лицо. Нет. Его глаза убивали всякое сомнение в искренности этого младенца. Он сидел в кресле, как высохшее ядро ореха в своей скорлупе, и было видно, что он уверен в истине своих слов.

— Да! — продолжал он, рассматривая ногти. — Это вполне хорошие книги! Одну написали пророки, другую создал я сам. В моей книге мало слов. В ней цифры. Они рассказывают о том, что может сделать человек, если захочет работать честно и усердно. После моей смерти правительство должно бы опубликовать мою книгу. Пусть люди видят, как нужно идти, чтобы подняться на эту высоту.

И торжественным жестом победителя он обвел вокруг себя.

Я чувствовал, что пора прекратить беседу. Не всякая голова способна относиться безразлично, когда по ней топают ногами.

— Может быть, вы скажете что-нибудь о науке? — тихо спросил я.

— Наука? — Он поднял палец, глаза и посмотрел в потолок. Затем вынул часы, взглянул, который час, закрыл крышку и, намотав цепочку на палец, покачал часами в воздухе. После всего этого он вздохнул и заговорил:

— Наука... да, я знаю! — Это книги. Если в них хорошо пишут об Америке — книги полезны. Но в книгах редко пишут правду. Эти... поэты, которые делают книги, — мало зарабатывают, я думаю. В стране, где каждый занят делом, некому читать книги... Да, поэты злы, потому что у них не покупают книг. Правительство должно хорошо платить писателям книг.

Сытый человек всегда добр и весел. Если вообще нужны книги об Америке, следует нанять хороших поэтов, и тогда будут сделаны все книги, какие нужны для Америки... Вот и все.

— Вы несколько узко определяете науку! — заметил я.

Он опустил веки и задумался. Потом вновь открыл глаза и уверенно продолжал:

— Ну да, учителя, философы... это тоже наука. Профессора, акушерки, дантисты, я знаю. Адвокаты, доктора, инженеры. All right. Это необходимо. Хорошие науки... не должны учить дурному... Но — учитель дочери моей сказал мне однажды, что существуют социальные науки... Этого я не понимаю. Я думаю, это вредно. Хорошая наука не может быть сделана социалистом. Социалисты вовсе не должны делать науку. Науку, которая полезна или забавна, делает Эдисон, да. Фонограф, синемаграф — это полезно. А когда много книг с науками — это лишнее. Людям не следует читать книг, которые могут возбудить в уме... разные сомнения. Все на земле идет как нужно... и вовсе незачем путать книги в дела...

Я встал.

— О! вы уходите? — спросил он.

— Да! — сказал я. — Быть может, теперь, когда я уйду, вы наконец все-таки объясните мне — какой смысл быть миллионером?

Он начал икать и дрыгать ногами вместо ответа. Может быть, такова была его манера смеяться?

— Это привычка! — воскликнул он, переводя дух.

— Что привычка? — спросил я.

— Быть миллионером... это привычка!

Я подумал и поставил ему мой последний вопрос:

— Вы думаете, что бродяги, курильщики опиума и миллионеры — явления одного порядка?

Это, должно быть, обидело его. Он сделал круглые глаза, окрасил их желчью в зеленый цвет и сухо ответил:

— Я думаю, что вы плохо воспитаны.

— До свиданья! — сказал я.

Он любезно проводил меня до крыльца и остался стоять на верхней ступеньке лестницы, внимательно рассматривая носки своих сапог. Перед его домом лежала площадка, поросшая густою, ровно подстри-

женной травой. Я шагал по ней и наслаждался мыслью о том, что больше уже не увижу этого человека.

— Галло! — услышал я сзади себя.

Обернулся. Он стоял там, на крыльце, и смотрел на меня.

— А что, у вас в Европе есть лишние короли? — медленно спросил он.

— Мне кажется, они все лишние! — ответил я.

Он сплюнул направо и сказал:

— Я думаю нанять для себя пару хороших королей, а?

— Зачем это вам?

— Забавно, знаете. Я приказал бы им боксировать вот здесь...

Он указал на площадку перед домом и добавил тоном вопроса:

— От часа до половины второго каждый день, а? После завтрака приятно отдать полчаса искусству... хорошо.

Он говорил серьезно, и было видно, что он приложит все усилия, чтобы осуществить свое желание.

— Зачем вам нужны короли для этой цели? — осведомился я.

— Этого здесь еще ни у кого нет! — кратко объяснил он.

— Но ведь короли дерутся только чужими руками! — сказал я и пошел.

— Галло! — позвал он в другой раз.

Я снова остановился. Он все еще стоял на старом месте, сунув руки в карманы. На лице его выражалось что-то мечтательное.

— Вы что? — спросил я.

Он пожевал губами и медленно сказал:

— А как вы думаете, сколько это будет стоить — два короля для бокса, каждый день полчаса, в течение трех месяцев, э?

## **ЖРЕЦ МОРАЛИ**

...Он пришел ко мне поздно вечером и, подозрительно оглянув мою комнату, негромко спросил:

— Могу я поговорить с вами полчаса наедине?

В тоне его голоса и во всей сутуловатой, худой фи-



гуре было что-то таинственное и тревожное. Он сел на стул так осторожно, точно боялся, что мебель не сдержит его длинных и острых костей.

— Вы можете опустить штору на окне? — тихо спросил он.

— Пожалуйста! — сказал я и тотчас исполнил его желание.

Благодарно кивнув мне головой, он подмигнул в сторону окна и еще тише заметил:

— Всегда следят!

— Кто?

— Репортеры, разумеется!

Я внимательно посмотрел на него. Одетый очень прилично, даже щеголевато, он все-таки производил впечатление бедняка. Его лысый, угловатый череп блестел скромно и корректно. Чисто выбритое, очень худое лицо, серые, виновато улыбающиеся глаза, полуприкрытые светлыми ресницами. Когда он поднимал ресницы и смотрел прямо в лицо мне, я чувствовал себя перед какой-то туманной, неглубокой пустотой. Сидел он, подогнув ноги под стул, положив ладонь правой руки на колено, а левую, с котелком в ней, опустил к полу. Длинные пальцы рук немного дрожали, углы плотно сжатых губ были устало опущены — признак, что этот человек дорого заплатил за свой костюм.

— Позвольте вам представиться, — вздохнув и покосившись на окно, начал он, — я, так сказать, профессиональный грешник...

Я сделал вид, что не расслышал его слов, и наружно спокойно спросил:

— Как?

— Я — профессиональный грешник, — повторил он буква в букву и добавил: — Моя специальность — преступления против общественной морали...

В тоне этой фразы звучала только скромность, я не уловил даже тени раскаяния в словах и на лице.

— Вы... не хотите ли стакан воды? — предложил я ему.

— Нет, благодарю вас! — отказался он, и виноватые глаза его с улыбкой остановились на моей фигуре.

— Вы, кажется, не вполне ясно понимаете меня?

— Нет, почему же! — возразил я, скрывая, по примеру европейских журналистов, невежество под маской

развязности. Но он мне, очевидно, не поверил. Покачивая котелком в воздухе и скромно улыбаясь, он заговорил:

— Я приведу вам несколько фактов из моей деятельности, чтобы вам было понятно, кто я...

Здесь он вздохнул и опустил голову. И снова я был удивлен тем, что в этом вздохе было только утомление.

— Помните,— начал он, тихо покачивая шляпой,— в газетах писали о человеке... то есть о пьянице? Скандал в театре?

— Это господин из первого ряда, который во время патетической сцены встал, надел шляпу и начал кричать извозчика? — спросил я.

— Да! — подтвердил он и любезно добавил: — Это — я. Заметка под заголовком «Зверь, истязатель детей» — тоже мною вызвана, как и другая — «Муж, продающий свою жену»... Человек, преследовавший на улице даму нескромными предложениями,— это тоже я... Вообще, обо мне пишут не менее одного раза в неделю и всякий раз, когда требуется доказать испорченность нравов...

Все это он сказал негромко, очень внятно, но без хвастовства. Я ничего не понимал, но мне не хотелось показать ему это. Как все писатели, я тоже делаю всегда вид, будто знаю жизнь и людей, точно свои пять пальцев.

— Гм! — сказал я тоном философа. — Что же, вам доставляет удовольствие этот род занятий?

— Когда я был молод — это забавляло меня, не скрою,— ответил он. — Но теперь мне уже сорок пять лет, я женат, имею двух дочерей... В таком положении очень неудобно, когда вас раза два-три в неделю изображают в газетах как источник порока и разврата. Постоянно следят за вами репортеры, чтобы вы точно и вовремя выполняли свои обязанности...

Я закашлялся, чтобы скрыть недоумение. Потом тоном сострадания спросил:

— Это у вас болезнь?

Он отрицательно качнул головой, помахал себе в лицо шляпой, как веером, и ответил:

— Нет, профессия. Я уже сказал вам, что моя специальность — мелкие скандалы на улицах и в публичных местах... Другие товарищи в нашем бюро

занимаются более ответственными и крупными делами, например: оскорбление религиозного чувства, совращение женщин и девиц, кражи на сумму не выше тысячи долларов... — Он вздохнул, оглянулся вокруг и пояснил: — И прочие поступки против нравственности... а я делаю только мелкие скандалы...

Он говорил, как ремесленник о своем ремесле. Это меня начинало раздражать, и я саркастически спросил:

— Вас не удовлетворяет это?

— Нет! — просто ответил он.

Его простота обезоруживала и возбуждала острое любопытство. Помолчав, я поставил ему вопрос:

— Сидели в тюрьме?

— Три раза. А вообще я действую в размерах штрафа. Но штрафы платит, конечно, бюро... — объяснил он.

— Бюро? — невольно повторил я.

— О да! Согласитесь, что мне самому невозможно платить штрафы! — с улыбкою сказал он. — Пятьдесят долларов в неделю — это очень немного для семьи в четыре человека...

— Дайте мне подумать об этом, — сказал я, встав со стула.

— Пожалуйста! — согласился он.

Я начал ходить по комнате взад и вперед мимо него, напряженно вспоминая все формы психических заболеваний. Мне хотелось определить характер его болезни, но я не мог. Было ясно одно — это не мания величия. Он следил за мной с любезной улыбкой на худом, истощенном лице и терпеливо ждал.

— Итак, бюро? — спросил я, останавливаясь против него.

— Да, — сказал он.

— Много служащих?

— В этом городе — сто двадцать пять мужчин и семьдесят пять женщин...

— В этом городе? Значит... и в других городах — тоже бюро?

— Во всей стране, конечно! — сказал он, покровительственно улыбаясь.

Мне стало жалко себя.

— Но... что же они... — нерешительно спросил я, — чем же они занимаются, эти бюро?

— Нарушают законы нравственности,— скромно ответил он, встал со стула, сел в кресло, потянулся и с откровенным любопытством стал рассматривать мое лицо. Очевидно, я казался ему дикарем, и он переставал стесняться.

«Черт побери! — подумалось мне.— Не надо показывать, что я ничего не понимаю...» — И, потирая руки, я оживленно сказал:

— Это интересно! Очень интересно!.. Только... зачем это?

— Что? — улыбаясь, спросил он.

— Да эти бюро для нарушения законов морали?

Он засмеялся добродушным смехом взрослого над глупостью ребенка. Я посмотрел на него и подумал, что действительно, источником всех неприятностей в жизни является невежество.

— Как вы полагаете, надо жить, а? — спросил он.

— Конечно!

— И надо жить приятно?

— О, разумеется!

Этот человек встал, подошел ко мне и хлопнул меня по плечу.

— А разве можно наслаждаться жизнью, не нарушая законов морали, а?

Он отступил от меня, подмигнул мне, снова развалился в кресле, как вареная рыба на блюде, вынул сигару и закурил ее, не спросив моего разрешения. Потом продолжал:

— Кому приятно кушать землянику с карболовой кислотой?

И он бросил горящую спичку на пол.

Уж это всегда так,— сознав свое преимущество над ближним, человек сразу становится свиньей по отношению к нему.

— Мне трудно понять вас! — сознался я, глядя в его лицо.

Он улыбнулся и сказал:

— Я был лучшего мнения о ваших способностях...

Становясь все свободнее в своих манерах, он сбросил пепел сигары прямо на пол, полузакрыв глаза и, следя сквозь ресницы за струями дыма своей сигары, заговорил тоном знатока дела:

— Вы мало знакомы с моралью — вот что я вижу...



— Нет, я иногда сталкивался с ней,— скромно возразил я.

Он вынул сигару изо рта, посмотрел на конец ее и философски заметил:

— Удариться лбом об стену — это еще не значит изучить стену.

— Да, я согласен с этим. Но почему-то я всегда отскакиваю от морали, как мяч от стены...

— Здесь виден недостаток воспитания! — сказал он резонерски.

— Очень может быть,— согласился я.— Самым отчаянным моралистом, которого я знал, был мой дед. Он ведал все пути в рай и постоянно толкал на них каждого, кто попадался ему под руку. Истина была известна только ему одному, и он усердно вколачивал ее чем попало в головы членов своего семейства. Он прекрасно знал все, чего хочет бог от человека, и даже собак и кошек учил, как надо вести себя, чтобы достигнуть вечного блаженства. При всем этом он был жаден, зол, постоянно лгал, занимался ростовщицеством и, обладая жестокостью труса,— особенность души всех моралистов и каждого,— в свободное и удобное время бил своих домашних чем мог и как хотел... Я пробовал влиять на деда, желая сделать его мягче,— однажды выбросил старика из окна, другой раз ударил его зеркалом. Окно и зеркало разбились, но дед не стал от этого лучше. Он так и умер моралистом. А мне с той поры мораль кажется несколько противной... Может быть, вы скажете что-нибудь такое, что может помирить меня с нею? — предложил я ему.

Он вынул часы, посмотрел на них и сказал:

— У меня нет времени читать вам лекцию! Но, если я пришел к вам, все равно. Начатое — нужно кончать. Может быть, вы сумеете что-нибудь сделать для меня... Я буду краток...

Он снова полужакрыл глаза и начал говорить внушительным тоном:

— Мораль необходима для вас — это нужно помнить! Почему она необходима? Потому что она ограждает ваш личный покой, ваши права и ваше имущество — иначе сказать, она защищает интересы «ближнего». «Ближний» — это всегда вы и более никто, понимаете? Если у вас есть красивая жена, вы говорите всем окружающим вас: «Не пожелай жены

ближнего твоего». Если у человека есть деньги, волю, рабы, ослы и сам он не идиот — он моралист. Мораль выгодна для вас, когда вы имеете все, что вам нужно, и желаете сохранить это для себя одного; она невыгодна, если у вас нет ничего лишнего, кроме волос на голове.

Он погладил рукой свой голый череп и продолжал:

— Мораль — это страж ваших интересов, вы ставитесь поставить его в души людей, окружающих вас. На улицах вы ставите полицейских и сыщиков, внутрь человека вы всовываете целый ряд принципов, которые должны врасти в его мозг и связать в нем, задушить, уничтожить все враждебные вам мысли, все угрожающие вашим правам желания. Мораль всего строже там, где экономические противоречия нагляднее. Чем больше у меня денег, тем более я строгий моралист. Вот почему в Америке, где так много богатых, — ими исповедуется мораль во сто лошадиных сил. Понятно?

— Да, — сказал я, — но зачем же бюро?

— Подождите! — возразил он, внушительно подняв руку. — Итак, мораль имеет целью внушить всем людям, чтобы они оставили вас в покое. Но если у вас много денег — у вас множество желаний и полная возможность осуществить их, — так? Однако большинство желаний ваших нельзя осуществить, не нарушая принципов морали... Как же быть? Нельзя проповедовать людям то, что отрицаешь сам: это и неловко, да и люди могут не поверить. Ведь они не все глупы... Например: вы сидите в ресторане, пьете шампанское и целуете очень красивую женщину, хотя она не жена вам... С той точки зрения, которую вы считаете обязательной для всех, — подобные занятия являются безнравственными. Но лично для вас — такая трата времени необходима: это ваша милая привычка, она дает вам массу наслаждений. И пред вами встает вопрос: как примирить проповедь воздержания от сладких пороков с вашей любовью к ним? Другой пример: вы говорите всем — не укради! Ибо вам крайне будет неприятно, если вас начнут обкрадывать, — не так ли? Но в то же время, хотя у вас и есть деньги, — вам нестерпимо хочется украсть еще немного. Третий: вы строго исповедуете принцип — не убий! Потому что жизнь вам дорога, она приятна, полна

наслаждений. Вдруг в ваших угольных копиях рабочие требуют увеличения платы. Вы невольно вызываете солдат, и — трах! — несколько десятков рабочих убито. Или: вам некуда сбывать товар. Вы указываете на этот факт вашему правительству и убеждаете его открыть для вас новый рынок. Правительство любезно посылает небольшую армию куда-нибудь в Азию, Африку и исполняет ваше желание, перебив несколько сотен или тысяч туземцев... Все это плохо гармонирует с вашей проповедью человеколюбия, воздержания и целомудрия. Но, избивая рабочих или туземцев, вы можете оправдать себя указанием на интересы государства, которое не может существовать, если люди не станут подчиняться вашим интересам. Государство — это вы, если вы богатый человек, разумеется. Вам гораздо труднее в мелочах, — в разврате, воровстве и прочем. Вообще позиция богатого человека — трагическая позиция. Ему положительно необходимо, чтобы все любили его, все воздерживались от покушений на целостность его имущества, чтобы никто не нарушал его привычек и все относились целомудренно к его жене, сестре, дочерям. В то же время для него не только нет необходимости любить людей, воздерживаться от воровства, целомудренно относиться к женщинам и так далее — напротив! Все это только стесняет его личную деятельность и безусловно вредно для успеха его работ. Обычно — вся его жизнь сплошное воровство, он грабит тысячи людей, целую страну, это необходимо для роста капитала, то есть для прогресса страны, — вы понимаете? Он развращает женщин десятками, — это очень приятное развлечение для праздного человека. И кого ему любить? Все люди делятся для него на две группы — одну он обворовывает, другая конкурирует с ним в этом занятии.

Довольный своим знанием вопроса оратор улыбнулся и, бросив окурки сигары в угол комнаты, продолжал:

— Итак: мораль полезна богатому и вредна всем людям, но в то же время она не нужна ему и необходима для всех. Вот почему моралисты стараются вколотить принципы морали внутрь людей, а сами всегда носят их снаружи, как галстуки и перчатки. Далее: как убедить людей в необходимости для них подчинения законам морали? Никому не выгодно

быть честным среди жуликов. Но если невозможно убедить — гипнотизируйте! Это всегда удастся...

Он утвердительно кивнул головой и, подмигнув мне, повторил:

— Невозможно убедить — гипнотизируйте!

Затем он положил свою руку на колено мне, заглянул в лицо мое и, понизив голос, продолжал:

— Дальнейшее — между нами, хорошо?

Я кивнул головой.

— Бюро, в котором я служу, занимается гипнозом общественного мнения. Это одно из оригинальнейших учреждений Америки — прошу заметить! — с гордостью сказал он.

Я еще раз наклонил голову.

— Вы знаете, что наша страна, — говорил он, — живет только одним стремлением — делать деньги. Здесь все хотят быть богатыми, и человек для человека только материал, из которого всегда можно выжать несколько крупинок золота. И вся жизнь есть процесс выжимания золота из мяса и крови человека. Народ в этой стране — как и везде, я слышал — руда, из которой добывают желтый металл, прогресс — это концентрация физической энергии масс, то есть кристаллизация мяса, костей и нервов человека в золото. Жизнь построена очень просто...

— Это ваш личный взгляд? — спросил я.

— Это? Конечно, нет! — сказал он с гордостью. — Это просто чья-то фантазия... Я не помню, как она попала в мою голову... Я пользуюсь ею, только когда говорю с людьми ненормальными... Продолжаю. Народу здесь некогда заниматься пороками — для этого не остается свободного времени. Часы напряженной работы так истощают человека, что он уже не имеет ни сил, ни желания согрешить в час отдыха. Людям некогда думать, у них нет силы желать, они живут только работой, для работы, и это делает их жизнь очень нравственной. Разве иногда, в праздник, несколько ребят повесят пару негров, но это — не против морали, потому что негр — не белый, к тому же их здесь много, этих негров. Все ведут себя более или менее прилично, и на общем сером фоне этой неподвижной жизни, забитой в тесные рамки старой пуританской морали, всякое нарушение ее принципов выступает резко, как пятно сажи. Это — хорошо, но это — дурно.

Высшие классы общества могут гордиться поведением низших, но в то же время такое поведение стесняет свободу действий богатых. Они имеют деньги — значит, они имеют право жить как хотят, не считаясь с моралью. Богатые — жадны, сытые — чувственны, праздные — порочны. Бурьян растет на жирной почве, разврат — на почве пресыщения. Что же делать? Отрицать мораль? Это — невозможно, ибо это — глупо. Если тебе выгодно, чтобы люди были нравственны, — умей скрывать свои пороки... Вот и все! В этом не много нового...

Он оглянулся и еще понизил голос.

— И вот представители высшего общества в Нью-Йорке напали на одну удивительно счастливую мысль. Они решили учредить в стране тайное общество для явного нарушения законов морали. Был собран, путем вкладов, солидный капитал, и в разных городах страны открыты — негласно, разумеется, — бюро для гипноза общественного мнения. Наняли разных людей, вроде вашего покорного слуги, и возложили на них обязанность совершать преступления против нравственности. Во главе каждого бюро стоит надежный и опытный человек, руководящий действиями служащих и распределяющий занятия... обыкновенно он редактор какой-нибудь газеты.

— Я не понимаю целей бюро! — тоскливо сказал я.

— Очень просто! — отозвался он. И вдруг его лицо приняло выражение тревоги и нервного ожидания чего-то. Он встал и, заложив руки за спину, начал медленно ходить по комнате.

— Очень просто! — повторил он. — Я уже сказал вам, что низшие классы, по недостатку времени, мало грешат. А ведь необходимо, чтобы нравственность нарушалась — нельзя же оставлять ее бесплодной старой девой. Нужно, чтобы всегда кричали о нравственности, это оглушает общество, не позволяя ему слышать правду. Если в реку набросать массу мелких щеп, среди них может незаметно для вашего глаза проплыть большое бревно. Или если вы неосторожно вытащили бумажник из кармана вашего соседа, но своевременно обратите внимание публики на мальчишку, который украл горсть орехов, — это может спасти вас от скандала. Только кричите громче — вор!

Наше бюро занимается тем, чтобы создавать массу мелких скандалов для прикрытия крупных преступлений.

Он вздохнул, остановился среди комнаты и помолчал.

— Например, в городе разносится слух о том, что одно уважаемое и почтенное лицо бьет свою жену. Бюро немедленно поручает мне и нескольким товарищам побить наших жен. Мы — бьем. Жены, конечно, посвящены в дело и кричат очень громко. Об этом пишут все газеты, и шум, поднятый ими, заставляет забыть о слухах по поводу отношений почтенного лица к его жене. Какое значение имеют слухи, когда налицо факты? Или: начинают говорить о подкупе сенаторов. Бюро немедленно организует ряд подкупов полицейских чинов и разоблачает их продажность перед публикой. Снова слухи исчезают перед фактами. Некто из высшего общества оскорбил женщину. Тотчас же в ресторанах, на улицах создается ряд оскорблений женщин. Поступок представителя высшего света совершенно исчезает в ряду однородных поступков. И так всегда, во всем. Крупная кража засыпается кучей мелких краж, и вообще все крупные преступления подавляются горами мелочей. Вот — деятельность бюро.

Он подошел к окну, осторожно взглянул на улицу и снова сел на стул, продолжая тихим голосом:

— Бюро ограждает высший класс американского общества от суда народа и в то же время постоянными криками о нарушении законов морали забивает народу голову мелкими скандалами, организованными для прикрытия порочности богатых. Народ находится всегда в состоянии гипноза, ему нет времени думать самостоятельно, и он только слушает газеты. Газеты принадлежат миллионерам, бюро организовано ими же... Вы понимаете? Это очень оригинально...

Он замолчал, задумался, низко наклонив голову.

— Благодарю вас! — сказал я ему. — Вы сообщили мне очень много интересного.

Он поднял голову и уныло взглянул на меня.

— Д-да, это интересно, конечно! — медленно и задумчиво произнес он. — Но — меня это уже утомляет. Я семейный человек, три года тому назад я построил себе дом... мне хочется немного отдохнуть. Это

трудное дело — моя служба. Поддерживать в обществе уважение к законам морали — о! это, право, нелегко! Вы подумайте, мне вреден алкоголь, но я должен напиваться, я люблю жену и тихую жизнь в семье — и должен ходить по ресторанам, скандалить... и постоянно видеть себя в газетах... хотя под чужим именем, конечно, но все-таки... однажды откроется мое собственное имя, и тогда... придется уехать из города... Я нуждаюсь в совете... Я пришел к вам узнать ваше мнение по моему делу... очень запутанное дело!

— Говорите! — предложил я.

— Видите ли что,— начал он,— за последнее время среди представителей высших классов общества в южных штатах заводят любовниц — негритянских девушек... По две и по три сразу. Об этом начали говорить. Жены недовольны поведением мужей. В некоторых газетах получены письма женщин с разоблачением деятельности их мужей. Возможен громкий скандал. Бюро немедленно же принялось за организацию ряда «контрфактов», как это у нас называется. Тринадцать агентов — и в их числе я — немедленно должны завести любовниц негритянок. По две и даже по три сразу...

Он нервно вскочил со стула и, приложив руку к карману сюртука, заявил:

— Я не могу сделать это! Я люблю жену... и она мне не позволит, вот что главное! Наконец — если бы одна!

— Откажитесь! — посоветовал я.

Он посмотрел на меня с сожалением.

— А кто же мне уплатит пятьдесят долларов за неделю? И награду в случае успеха? Нет, этот совет вы оставьте для себя... Американец не отказывается от денег даже на другой день после своей смерти. Посоветуйте что-нибудь другое.

— Мне трудно! — сказал я.

— Гм! Почему трудно? Вы, европейцы, очень легкомысленны в вопросах нравственности... ваша развращенность нам известна!

Он сказал это с твердой уверенностью в правде своих слов.

— Вот что,— продолжал он, наклонясь ко мне,— вероятно, у вас есть знакомые европейцы? Я уверен, что есть!

— Зачем вам? — спросил я.

— Зачем? — Он отступил от меня на шаг и встал в драматическую позу. — Я положительно не могу взять на себя дело с негритянками. Судите сами: же-на мне не позволит и я ее люблю. Нет, я не могу...

Он энергично потряс головой, провел рукой по своей лысине и вкрадчиво продолжал:

— Может быть, вы могли бы мне рекомендовать на это дело европейца? Они отрицают нравственность, им все равно! Кого-нибудь из бедных эмигрантов, а? Я плачу десять долларов в неделю, хорошо? Я буду сам ходить по улицам с негритянками... вообще я все сделаю сам, он должен позаботиться только о том, чтобы родились дети... Вопрос нужно решить сегодня же вечером... Вы подумайте, какой скандал может разгореться, если это дело в южных штатах не завалить своевременно разным хламом! В интересах торжества нравственности — необходимо торопиться...

...Когда он убежал из комнаты, я подошел к окну и приложил ушибленную о его череп руку к стеклу, чтобы охладить ее.

Он стоял под окном и делал мне какие-то знаки.

— Что вам угодно? — спросил я, открывая раму.

— Я забыл взять шляпу! — сказал он скромно.

Подняв с полу котелок, я выбросил его на улицу. И, закрывая окно, услышал деловой вопрос:

— А если я дам пятнадцать долларов в неделю? Это хорошая плата!

## ХОЗЛЕВА ЖИЗНИ

— Пойдем со мной к источникам истины! — смеясь, сказал мне Дьявол и привел меня на кладбище.

И когда мы медленно кружились с ним по узким дорожкам среди старых камней и чугунных плит над могилами, он говорил утомленным голосом старого профессора, которому надоела бесплодная проповедь его мудрости.

— Под ногами твоими, — говорил он мне, — лежат творцы законов, которые руководят тобой, ты попираешь подошвой сапога прах плотников и кузнецов, которые построили клетку для зверя внутри тебя.



Он смеялся при этом острым смехом презрения к людям, обливая траву могил и плесень памятников зеленоватым блеском холодного взгляда тоскливых глаз. Жирная земля мертвых приставала к ногам моим тяжелыми комьями, и было трудно идти по тропинкам, среди памятников над могилами житейской мудрости.

— Что же ты, человек, не поклонись благодарно праху тех, которые создали душу твою? — спрашивал Дьявол голосом, подобным сырому дуновению ветра осени, и голос его вызывал дрожь в теле моем и в сердце моем, полном тоскливого возбуждения. Тихо качались печальные ветви деревьев над старыми могилами людей, прикасаясь, холодные и влажные, к моему лицу.

— Воздай должное фальшивомонетчикам! Это они наплодили тучи маленьких, серых мыслей — мелкую монету твоего ума, они создали привычки твои, предрассудки и все, чем ты живешь. Благодарим их — у тебя огромное наследство после мертвецов!

Желтые листья медленно падали на голову мою и опускались под ноги. Земля кладбища жадно чмокала, поглощая свежую пищу — мертвые листья осенних дней.

— Вот здесь лежит портной, одевавший души людей в тяжелые, серые ризы предубеждений, — хочешь посмотреть на него?

Я молча наклонил голову. Дьявол ударил ногой в старую, изъеденную ржавчиной плиту над одной из могил, ударил и сказал:

— Эй, книжник! Вставай...

Плита поднялась, и, вздыхая густым вздохом потревоженной грязи, открылась неглубокая могила, точно сгнившее портмоне. В сыром мраке ее раздался брюзгливый голос:

— Кто же будит мертвецов после двенадцати?

— Видишь? — усмехаясь, спросил Дьявол. — Творцы законов жизни верны себе, даже когда они сгнили.

— А, это вы, Хозяин! — сказал скелет, садясь на край могилы, и он независимо кивнул Дьяволу пустым черепом.

— Да, это я! — ответил Дьявол. — Вот я привел к тебе одного из друзей моих... Он поглупел среди людей, которых ты научил мудрости, и теперь пришел к первоисточнику ее, чтобы вылечиться от заразы...



Я смотрел на мудреца с должным почтением. На костях его черепа уже не было мяса, но выражение самодовольства еще не успело сгнить на его лице. Каждая кость тускло светилась сознанием своей принадлежности к системе костей исключительно совершенной, единственной в своем роде...

— Что ты сделал на земле, Расскажи нам! — предложил Дьявол.

Мертвец внушительно и гордо оправил костями рук темные лохмотья савана и мяса, нищенски висевшие на его ребрах. Потом он гордо поднял кости правой руки на уровень плеча и, указывая голым суставом пальца во тьму кладбища, заговорил бесстрастно и ровно:

— Я написал десять больших книг, которые внушили людям великую идею преимущества белой расы над цветной...

— В переводе на язык правды, — сказал Дьявол, — это звучит так: я, бесплодная старая дева, всю жизнь вязала тупой иглой моего ума из ветхих шерстинок поношенных идей дурацкие колпаки для тех, кто любит держать свой череп в покое и тепле...

— Вы не боитесь обидеть его? — тихонько спросил я Дьявола.

— О! — воскликнул он. — Мудрецы и при жизни плохо слышат правду!

— Только белая раса, — продолжал мудрец, — могла создать такую сложную цивилизацию и выработать столь строгие принципы нравственности, этим она обязана цвету своей кожи, химическому составу крови, что я и доказал...

— Он это доказал! — повторил Дьявол, утвердительно кивая головой. — Нет варвара, более убежденного в своем праве быть жестоким, чем европеец...

— Христианство и гуманизм созданы белыми, — продолжал мертвец.

— Расой ангелов, которой должна принадлежать вся земля, — перебил его Дьявол. — Вот почему они так усердно окрашивают ее в свой любимый цвет — красный цвет крови...

— Они создали богатейшую литературу, изумительную технику, — считал мертвец, двигая костями пальцев...

— Три десятка хороших книг и бесчисленное ко-

личество орудий для истребления людей...— пояснил Дьявол, смеясь.— Где жизнь раздроблена более, чем среди этой расы, и где человек низведен так низко, как среди белых?

— Быть может, Дьявол не всегда прав? — спросил я.

— Искусство европейцев достигло неизмеримой высоты,— бормотал скелет сухо и скучно.

— Быть может, Дьявол хотел бы ошибиться! — воскликнул мой спутник.— Ведь это скучно — всегда быть правым. Но люди живут только для того, чтобы питать презрение мое... Посевы зерен пошлости и лжи дают самый богатый урожай на земле. Вот он, сеятель, перед вами. Как все они — он не родил что-либо новое, он только воскрешал трупы старых предрассудков, одевая их в одежды новых слов... Что сделано на земле? Выстроены дворцы для немногих, церкви и фабрики для множества. В церквях убивают души, на фабриках — тела, это для того, чтобы дворцы стояли незыблемо... Посылают людей глубоко в землю за углем и золотом — и оплачивают позорный труд куском хлеба с приправой свинца и железа.

— Вы — социалист? — спросил я Дьявола.

— Я хочу гармонии! — ответил он.— Мне противно, когда человека, существо по природе своей цельное, дробят на ничтожные куски, делают из него орудие для жадной руки другого. Я не хочу раба, рабство противно духу моему... И за это меня сбросили с неба. Где есть авторитеты, там неизбежно духовное рабство, там всегда будет пышно цвести плесень лжи... Пусть земля — вся живет! Пусть она вся горит весь день, хотя бы к ночи только пепел остался от нее. Необходимо, чтобы однажды все люди влюбились... Любовь, как чудесный сон, снится только один раз, но в этом однажды — весь смысл бытия...

Скелет стоял, прислонясь к черному камню, и ветер тихо ныл в пустой клетке его ребер.

— Ему, должно быть, холодно и неудобно! — сказал я Дьяволу.

— Мне приятно посмотреть на ученого, который освободился от всего лишнего. Его скелет — скелет его идеи... Я вижу, как она была оригинальна... Рядом с ним лежат остатки другого сеятеля истины. Разбудим и его. При жизни все они любят покой и трудят-

ся ради создания норм для мыслей, для чувства, для жизни — искажают новорожденные идеи и делают уютные гробики для них. Но — умирая, они хотят, чтобы о них не забывали... Компрачикос — вставайте! Вот я привел вам человека, которому нужен гроб для его мысли.

И снова предо мной явился из земли пустой и голый череп, беззубый, желтый, но все-таки лоснящийся самодовольством. Должно быть, он уже давно лежал в земле — его кости были свободны от мяса. Он встал у камня над своей могилой, и ребра его рисовались на черном камне, как нашивки на мундире камергера.

— Где он хранит свои идеи? — спросил я.

— В костях, мой друг, в костях! У них идеи — вроде ревматизма и подагры — глубоко проникают в ребра.

— Как идет моя книга, Хозяин? — глухо спросил скелет.

— Она еще лежит, профессор! — ответил Дьявол.

— Что ж, разве люди разучились читать? — сказал профессор, подумав.

— Нет, глупости они читают по-прежнему — вполне охотно... но глупость скучная — иногда долго ждет их внимания... Профессор, — обратился Дьявол ко мне, — всю жизнь измерял черепа женщин, чтобы доказать, что женщина не человек. Он измерял сотни черепов, считал зубы, измерял уши, взвешивал мертвые мозги. Работа с мертвым мозгом была любимейшей работой профессора, об этом свидетельствуют все его книги. Вы их читали?

— Я не хожу в храмы через кабаки, — ответил я. — И я не умею изучать человека по книгам — люди в них всегда дробы, а я плохо знаю арифметику. Но я думаю, что человек без бороды и в юбке — не лучше и не хуже человека с бородою, в брюках и с усами...

— Да, — сказал Дьявол, — пошлость и глупость вторгаются в мозги независимо от костюма и количества волос на голове. Но все же вопрос о женщине интересно поставлен.

И Дьявол, по обыкновению, засмеялся. Он всегда смеется — вот почему с ним приятно беседовать. Кто умеет и может смеяться на кладбище, тот — поверьте! — любит и жизнь и людей...

— Олни, которым женщина необходима лишь как жена и рабыня, утверждают, что она — не человек! — продолжал он.— Другие, не отказываясь пользоваться ею как женщиной, хотели бы широко эксплуатировать ее рабочую энергию и утверждают, что она вполне пригодна для того, чтобы работать всюду наравне с мужчиной, то есть для него. Конечно, и те и другие, изнасиловав девушку, не пускают ее в свое общество,— они убеждены, что после их прикосновения к ней она становится навсегда грязной... Нет, женский вопрос очень забавен! Я люблю, когда люди наивно лгут,— они тогда похожи на детей, и есть надежда, что со временем они вырастут...

По лицу Дьявола было видно, что он не хочет сказать нечто лестное о людях в будущем. Но я сам могу сказать о них много нелестного в настоящем, и, не желая, чтобы Черт конкурировал со мной в этом приятном и легком занятии,— я прервал его речь:

— Говорят — куда черт сам не поспеет, туда женщину пошлет,— это правда?

Он пожал плечами и ответил:

— Случается... если под рукой нет достаточно умного и подлого мужчины...

— Мне почему-то кажется, что вы разлюбили зло? — спросил я.

— Зла больше нет! — ответил он, вздыхая.— Есть только пошлость! Когда-то зло было красивой силой. А теперь... даже если убивают людей — это делают пошло,— им сначала связывают руки. Злодеев нет — остались палачи. Палач — всегда раб. Это рука и топор, приводимые в движение силой страха, толчками опасений... Ведь убивают тех, кого боятся...

Два скелета стояли рядом над своими могилами, и на кости их тихо падали осенние листья. Ветер уныло играл на струнах их ребер и гудел в пустоте черепов. Тьма, сырая и пахучая, смотрела из глубоких впадин глаз. Оба они вздрагивали. Мне было жалко их.

— Пусть они уйдут на свое место! — сказал я Дьяволу.

— А ты гуманист даже на кладбище! — воскликнул он.— Так. Гуманизм более уместен среди трупов — здесь он никого не обижает. На фабриках, на площадях и улицах городов, в тюрьмах и шахтах, сре-

ли живых людей — гуманизм смешон и даже может возбудить злобу. Здесь некому над ним смеяться — мертвецы всегда серьезны. И я уверен, что им приятно слышать о гуманизме, — ведь это их мертворожденное дитя... А все-таки не идиоты были те, которые хотели поставить на сцену жизни эту красивую кулису, чтобы скрыть за нею мрачный ужас истязания людей, холодную жестокость кучки сильных... силою глупости всех...

И Дьявол хохотал резким смехом зловещей правды.

В темном небе вздрагивали звезды, неподвижно стояли черные камни над могилами прошлого. Но его гнилой запах просачивался сквозь землю, и ветер уносил дыхание мертвецов в сонные улицы города, объятого тишиною ночи.

— Здесь не мало лежит гуманистов, — продолжал Дьявол, широким жестом указав на могилы вокруг себя. — Некоторые из них были даже искренни... в жизни множество забавных недоразумений, и, может быть, не это самое смешное... А рядом с ними, дружески и мирно, лежат учителя жизни другого типа — те, которые пытались подвести солидный фундамент под старое здание лжи, так кропотливо, с таким трудом воздвигнутое тысячами тысяч мертвецов...

Откуда-то издалека донеслись звуки песни... Два-три веселых крика, вздрагивая, проплыли над кладбищем. Должно быть, какой-то гуляка беззаботно шел во тьме к своей могиле.

— Вот под этим тяжелым камнем гордо гниет прах мудреца, который учил, что общество есть организм, подобный... обезьяне или свинье, не помню. Это хорошо для людей, которые хотят считать себя мозгами организма! Почти все политики и предводители воровских шаяк — сторонники этой теории. Если я мозг, я двигаю руками, как хочу, я всегда сумею подавить инстинктивное сопротивление мускулов моей царственной власти — да! А здесь лежит прах человека, который звал людей назад, ко времени, когда они ходили на четвереньках и пожирали червей. «Это были самые счастливые дни жизни», — усердно доказывал он. Ходить на двух ногах, в хорошем сюртуке, и советовать людям: обрастайте снова шерстью, — это ли не оригинально? Читать стихи, слушать музыку, бы-

вать в музеях, переноситься в день за сотни верст и проповедовать для всех простую жизнь в лесах, на четырех лапах — право, недурно! А этот успокаивал людей и оправдывал их жизнь тем, что доказывал — преступники не люди, они — большая воля, особый, антисоциальный тип. Они — враги законов и морали по природе, значит, с ними не стоит церемониться. От преступлений лечит только смерть. Это — умно! Возложить на одного преступления всех, заранее признав его естественным вместилищем порока и органическим носителем злой воли, — разве это глупо? Всегда есть в жизни некто, оправдывающий уродливое строение жизни, искажающее душу. Мудрые и сморкаются не без смысла. Да, кладбища богаты идеями для лучшего устройства жизни городов...

Дьявол оглянулся вокруг. Белая церковь, как палец скелета-колосса, молча поднималась из тучной нивы мертвых к темному небу, безмолвной ниве звезд. Густая толпа камней над источниками мудрости, одетая в ризы плесени, окружала эту трубу, разносившую по пустыням вселенной едкий дым человеческих жалоб и молитв. Ветер, напоенный жирным запахом тления, тихо качал ветвями деревьев, срывая умершие листья. И они бесшумно падали на жилища творцов жизни...

— Мы устроим теперь небольшой парад мертвецов, репетицию Страшного суда! — говорил Дьявол, шагая впереди меня по змеиной тропе, среди холмов и камней. — Ты знаешь, Страшный суд будет! Он будет на земле, и день его — лучший день ее! Он наступит, этот день, когда люди сознают все преступления, совершенные против них учителями и законодателями жизни, теми, которые разорвали человека на ничтожные куски бессмысленного мяса и костей. Все, что живет теперь под именем людей, — это части, цельный человек еще не создан. Он возникнет из пепла опыта, пережитого миром, и, поглотив опыт мира, как море лучи солнца, он загорится над землей, как еще солнце. Я это увижу! Ибо я создаю человека, я создам его!

Старик немного хвастался и впадал в несвойственный для черта лиризм. Я извинил ему это. Что поделаешь? Жизнь искажает даже дьявола, окисляя своими ядами крепко скованную душу его. К тому же



у всех голова кругла, а мысли угловаты, и каждый, глядя в зеркало, видит красавца.

Остановясь среди могил, Дьявол крикнул голосом владыки:

— Кто здесь мудрый и честный человек?..

Был момент молчания, потом — вдруг — земля всколыхнулась под ногами моими, и гочно сугробы грязного снега покрыли холмы кладбища. Как будто тысячи молний взрыли ее изнутри или в недрах ее судорожно повернулось некое чудовище-гигант. Все вокруг зацвело желтовато-грязным цветом, всюду, точно стебли сухих трав под ветром, закачались скелеты, наполняя тишину трением костей и сухими толчками суставов друг о друга и плиты могил. Толкая друг друга, скелеты вылезали на камни, всюду мелькали черепа, похожие на одуванчики, плотная сеть ребер тесной клеткой окружала меня, напряженно вздрагивали голени под тяжестью уродливо разверстых костей таза, и все вокруг кипело в безмолвной суете...

Холодный смех Дьявола покрыл безличные звуки.

— Смотри — они все вылезли, все до одного! — сказал он. — И даже городские дурачки — среди них! Стошнило землю, и вот она изрыгнула из недр своих мертвую мудрость людей...

Влажный шум быстро рос — казалось, чья-то невидимая рука жадно роется в сыром мусоре, сметенном дворником в углу двора.

— Вот как много было в жизни честных и мудрых людей! — воскликнул Дьявол, широко простирая свои крылья над тысячами обломков, теснивших его со всех сторон.

— Кто из вас больше всех сделал людям добра? — громко спросил он.

Все вокруг зашипело, подобно грибам, когда их жарят в сметане на большой сковороде.

— Позвольте мне пройти вперед! — тоскливо закричал кто-то.

— Это я, Хозяин, я здесь! Это я доказал, что единица — ноль в сумме общества!

— Я пошел дальше его! — возражали откуда-то издали. — Я учил, что все общество — сумма нолей, и потому массы должны подчиняться воле групп.

— А во главе групп стоит единица — и это я! — торжественно крикнул некто.

— Почему — вы! — раздалось несколько тревожных голосов.

— Мой дядя был король!

— Ах, это дядюшке вашего высочества преждевременно отрубили голову?

— Короли теряют головы всегда вовремя! — гордо ответили кости потомка костей, когда-то сидевших на троне.

— Ого-о! — раздался довольный шепот. — Среди нас есть король! Это встретишь не на всяком кладбище...

Влажные шепоты и трение костей сливались в один клубок, становясь все гуще, тяжелее.

— Посмотрите, — правда ли, что кости королей голубого цвета? — торопливо спросил маленький скелет с кривым позвоночником.

— Позвольте вам сказать... — внушительно начал какой-то скелет, сидевший верхом на памятнике.

— Лучший пластырь для мозолей — мой! — крикнул кто-то сзади него.

— Я тот самый архитектор...

Но широкий и низенький скелет, расталкивая всех короткими костями рук, кричал, заглушая шелест мертвых голосов:

— Братие во Христе! Не я ли это врач ваш духовный, не я ли лечил пластырем кроткого утешения мозоли ваших душ, натертые печалью вашей жизни?

— Страданий нет! — заявил кто-то раздраженно. — Все существует только в представлении.

— Тот архитектор, который изобрел низкие двери...

— А я — бумагу для истребления мух!..

— ...для того, чтобы люди, входя в дом, невольно склоняли голову перед хозяином его... — раздавался назойливый голос.

— Не мне ли принадлежит первенство, братие? Это я поил души ваши, алкавшие забвения печалей, млеком и медом размышлений моих о тщете всего земного!

— Все, что есть, — установлено раз навсегда! — прожужжал чей-то глухой голос.

Скелет с одной ногой, сидевший на сером камне, поднял голень, вытянул ее и почему-то крикнул:

— Разумеется, так!

Кладбище превратилось в рынок, где каждый хвастал свой товар. В темную пустыню ночной тишины вливалась мутная река подавленных криков, поток грязного хвастовства, душного самолюбия. Как будто туча комаров кружилась над гнилым болотом и пела, ныла и жужжала, наполняя воздух всеми отравками, всеми ядами могил. Все толпились вокруг Дьявола, остановив на лице его темные впадины глаз и стиснутые зубы свои,— точно он был покупателем старья. Воскресали одна за другой мертвые мысли и кружились в воздухе, как жалкие осенние листья.

Дьявол смотрел на это кипение зелеными глазами, и его взгляд изливал на груды костей фосфорически мерцающий холодный свет.

Скелет, сидевший на земле у ног его, говорил, поднимая кости руки выше черепа и плавно качая ими в воздухе:

— Каждая женщина должна принадлежать одному мужчине...

Но в его шепот вплетался другой звук, слова его речи странно обнимались с другими словами:

— Только мертвому ведома истина!..

И кружились медленно еще слова:

— Отец, говорил я, подобен пауку...

— Жизнь наша на земле — хаос заблуждений и тьма кромешная!

— Я трижды был женат, и все три раза — законно...

— Всю жизнь он неустанно ткет паутину благополучия семьи.

— И каждый раз на одной женщине...

И вдруг откуда-то явился скелет, пронзительно скрипевший своими желтыми и ноздреватыми костями. Он поднял к глазам Дьявола свое полуразрушенное лицо и заявил:

— Я умер от сифилиса, да! Но я все-таки уважал мораль! Когда жена моя изменила мне — я сам предал гнусный поступок ее на суд закона и общества...

Но его оттолкнули, затерли костями, и снова, как тихий вой ветра в трубе, раздались смешанные голоса:

— Я изобрел электрический стул! Он убивает людей без страданий.

— За гробом, утешал я людей, вас ждет блаженство вечное...

— Отец дает детям жизнь и пищу... человек становится таковым после того, как он стал отцом, а до этого времени — он только член семьи...

Череп, формой похожий на яйцо, с кусками мяса на лице, говорил через головы других:

— Я доказал, что искусство должно подчиняться комплексу мнений и взглядов, привычек и потребностей общества...

Другой скелет, сидя верхом на памятнике, изображавшем сломанное дерево, возражал:

— Свобода может существовать только как анархия!

— Искусство — это приятное лекарство для души, усталой от жизни и труда...

— Это я утверждал, что жизнь есть труд! — доносились издали.

— Пусть книга будет красива, как те коробочки с пилюлями, которые дают в аптеках...

— Все люди должны работать, некоторые обязаны наблюдать за работой... ее плодами пользуется всякий, предназначенный для этого достоинствами своими и заслугами...

— Красиво и человеколюбиво должно быть искусство... Когда я устаю, оно пшет мне песни отдыха...

— А я люблю,— заговорил Дьявол,— свободное искусство, которое не служит иному богу, кроме богини красоты. Особенно люблю его, когда оно, как целомудренный юноша, мечтая о бессмертной красоте, весь полный жажды насладиться ею, срывает пестрые одежды с тела жизни... и она является пред ним, как старая распутница, вся в морщинах и язвах на истрепанной коже. Безумный гнев, тоску о красоте и ненависть к стоячему болоту жизни — это я люблю в искусстве... Друзья хорошего поэта — женщина и черт...

С колокольни сорвался стонущий крик меди и поплыл над городом мертвых, невидимо и плавно качаясь во тьме, точно большая птица с прозрачными крыльями... Должно быть, сонный сторож неверной и вялою рукой лениво дернул веревку колокола. Медный звук плавился в воздухе и умирал. Но раньше чем погас его последний трепет, раздался новый резкий звук разбуженного колокола ночи. Тихо колебал-

ся душный воздух, и сквозь печальный гул дрожащей меди просачивался шорох костей, шелест сухих голосов.

И снова я слышал скучные речи назойливой глупости, клейкие слова мертвой пошлости, нахальный говор торжествующей лжи, раздраженный ропот самомнения. Ожили все мысли, которыми живут люди в городах, но не было ни одной из тех, которыми они могут гордиться. Звенели все ржавые цепи, которыми окована душа жизни, но не вспыхнула ни одна из молний, гордо освещающих мрак души человека.

— Где же герои? — спросил я Дьявола.

— Они — скромны, и могилы их забыты. При жизни душили их, и на кладбище они задавлены мертвыми костями! — ответил он, качая крыльями, чтобы разогнать жирный запах гниения, окружавший нас темной тучей, в которой рылись, как черви, однотонные серые голоса мертвецов.

Сапожник говорил, что он первый из всех людей своего цеха имеет право на благодарность потомства — это он изобрел сапоги с узкими носками. Ученый, описавший в своей книге тысячу разных пауков, утверждал, что он величайший ученый. Изобретатель искусственного молока раздраженно ныл, отталкивая от себя изобретателя скорострельной пушки, который упорно толковал всем вокруг пользу своей работы для мира. Тысячи тонких и влажных бечевки стягивали мозг, впиваясь в него, как змеи. И все мертвые, о чем бы они ни говорили, говорили, как строгие моралисты, как тюремщики жизни, влюбленные в свое дело.

— Довольно! — сказал Дьявол. — Мне надоело это... Мне надоело все и на кладбищах мертвых, и в городах, кладбищах для живых... Вы, стражи истины! В могилы!..

Он крикнул железным голосом владыки, которому противна его власть.

Тогда пепельно-серая и желтая масса праха вдруг зашипела, закружилась и вскипела, как пыль под ударом вихря. Земля раскрыла тысячи темных пастей и, чмокая, лениво, как сытая свинья, снова проглотила извергнутую пищу свою, чтобы переваривать ее далее... Все вдруг исчезло, камни пошатнулись и твердо встали вновь на свои места. Остался только душный запах, хватавший за горло тяжелой и влажной рукой.

Дьявол сел на одну из могил и, поставив локти на свои колена, обнял голову длинными пальцами черных рук. Его глаза неподвижно остановились в темной дали, в толпе камней и могил... Над головой его горели звезды, в посветлевшем небе тихо плавали медные звуки колокола и будили ночь.

— Ты видел? — сказал он мне. — На зыбкой, на ядовитой, на цепкой почве всей этой глупой плесени, нехитрой лжи и липкой пошлости — построено тесное и темное здание законов жизни, клетка, в которую вы все загнаны покойниками, как овцы... Лень и трусость думать скрепляет гибкими обручами вашу тюрьму. Истинные хозяева жизни вашей — всегда мертвецы, и хотя тобой правят живые люди, но вдохновляют их покойники. Источниками мудрости житейской являются могилы. Я говорю: ваш здравый смысл — цветок, вспоенный соками трупов. Быстро сгнивая в земле, покойник хочет вечно жить в душе живого человека. Тонкий и сухой прах мертвых мыслей свободно проникает в мозг живых, и вот почему ваши проповедники мудрости — всегда проповедники смерти духа!

Дьявол поднял голову свою, и зеленые глаза его остановились на моем лице двумя холодными звездами.

— Что проповедуют на земле громче всего, что хотят утвердить на ней незыблемо? Раздробление жизни. Законность разнообразия положений для людей и необходимость единства душ для них. Квадратное однообразие всех душ, чтобы можно было удобно укладывать людей, как кирпичи, во все геометрические фигуры, удобные для нескольких владельцев жизни. Эта лицемерная проповедь примирения горького чувства поработанных с жестокой и лживой волей ума поработителей — вызвана гнусным желанием умертвить творческий дух протеста, эта проповедь — только подлое стремление построить из камней лжи склеп для свободы духа...

Светало. И на небе, побледневшем в ожидании солнца, тихо меркли звезды. Но все ярче разгорались глаза Дьявола.

— Что нужно проповедовать людям для жизни красивой и целостной? Однообразие положений для всех людей и различие всех душ. Тогда жизнь будет кустом цветов, объединенных на корне уважения всех

к свободе каждого, тогда она будет костром, горящим на почве общего всем чувства дружбы и общего стремления подняться выше... Тогда будут бороться мысли, но люди останутся товарищами. Это невозможно? Это должно быть, потому что этого еще не было!

— Вот наступает день! — продолжал Дьявол, посмотрев на восток. — Но кому солнце принесет радость, если ночь спит в самом сердце человека? Людям нет времени воспринять солнце, большинство хочет только хлеба, одни заняты тем, чтобы дать его возможно меньше, другие одиноко ходят в суете жизни, и все ищут свободы, и не могут найти ее среди неустанной борьбы за хлеб. И в отчаянии, несчастные, озлобленные одиночеством, они начинают примирять непримиримое. И так тонут лучшие люди в тине грубой лжи, сначала искренне не замечая своей измены самим себе, затем сознательно изменяя своей вере, своим исканиям...

Он встал и мощно расправил крылья.

— Пойду и я по дороге моих ожиданий навстречу прекрасных возможностей...

И, сопровождаемый унылым пением колокола, — умирающими звуками меди, — он полетел на запад...

Когда я рассказал этот сон одному американцу, более других похожему на человека, он сначала задумался, а потом воскликнул улыбаясь:

— А, понимаю! Дьявол был агентом фирмы кремационных печей! Конечно, так! Все, что он говорил, — доказывает необходимость сжигать трупы... Но, знаете, какой прекрасный агент! Чтобы служить своей фирме — он даже во сне является людям...

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>В. Зорин. Испытание временем</i> . . . . .	3
В Америке	
Город Желтого Дьявола . . . . .	9
Царство скуки . . . . .	23
«МОВ» . . . . .	38
Мои интервью	
Король, который высоко держит свое знамя . . . . .	51
Один из королей республики . . . . .	59
Жрец морали . . . . .	74
Хозяева жизни . . . . .	87



*Алексей Максимович*  
*Горький*  
ГОРОД ЖЕЛТОГО ДЬЯВОЛА

Редактор *Ч. Залилова*  
Художественный редактор *А. Виноградсв*  
Технический редактор *Л. Родионова*  
Корректоры *Э. Тихонова* и *Н. Усольцева*

Сдано в набор 25/XI-1971 г. Подписано к печати 27/IV-1972 г. Бумага типографская № 1. 84×108<sup>1/32</sup>. 3,25 печ. л. 5,46 усл. печ. л. 4,99 уч.-изд. л. Тираж 200 000 экз. Заказ 1069. Цена 16 коп.

Издательство  
«Художественная литература»  
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Полиграфкомбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по печати, Минск, Красная, 23.

16 коп.

